

**STUDENCKIE
ZESZYTY NAUKOWE
(W)KOŁO ROSJI**

NR 2/2019

Redaktor naukowy tomu:
dr hab. Władimir Miakiszew

Redaktor naczelny:
Karolina Stawiarz

Redakcja:
Michał Kózka

Okładka:
Szymon Drobnik

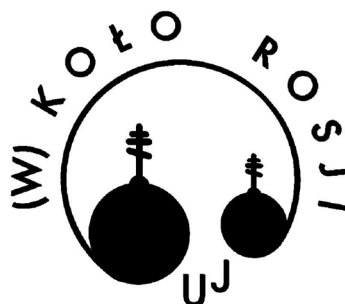
Nakład:
100 egzemplarzy

Skład i druk:
AT Wydawnictwo / AT Group
www.atwydawnictwo.pl

„Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji” zostały wydane przy wsparciu finansowym Rady Kół Naukowych UJ

Przedruk całości lub poszczególnych fragmentów za zgodą wydawcy
ISSN 1898-4444

Adres redakcji:
Koło Naukowe Studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ
„(W)Koło Rosji”
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków
<http://wkolorosji.wordpress.com/>
e-mail: zeszytynaukowe@gmail.com



SPIS TREŚCI

I. Dział językoznawczy

Sara Drażkiewicz

*Как Романовы стали Романовыми (о истории именованя
самой славной царской династии)* 7

Daria Wojciechowska

*Poproszę „3 × Tak”, „Skąpą Maryškę”, „Rybny melanż”
i „Rosyjską ruletkę”* 13

II. Dział literaturoznawczy

Ewelina Lech

*Bajka o wyprawie po złotego ptaka w literaturze
zachodnioeuropejskiej i rosyjskiej* 21

Joanna Majewska

*Kwestia autorytetu w powieści Serhija Żadana «Internat».
Kontekst klasycznej relacji mistrz – uczeń* 35

Mateusz Mościszko

*Derridiańska dekonstrukcja jako apogeum tendencji
poststrukturalistycznych* 45

I. Dział językoznawczy

Sara Drażkiewicz

studentka III roku Filologii Rosyjskiej UJ

КАК РОМАНОВЫ СТАЛИ РОМАНОВЫМИ (О ИСТОРИИ ИМЕНОВАНИЯ САМОЙ СЛАВНОЙ ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ)

История русской и российской государственности включает в себя времена правления всего лишь двух династий – Рюриков и Романовых¹, Переход к власти от первой из названных династий ко второй не был плавным, сопровождался страшным для России временем – периодом Смуты (1598–1613), ознаменованным стихийными бедствиями, войнами, социальным кризисом².

Конец Смуте положило восшествие на престол Михаила Федоровича Романова. Обстоятельства и причины выбора царем всего лишь 16-летнего юношу, происходившего, правда, от благородного царского корня и состоявшего в родстве с самим Иваном IV³, лишний раз отражают политические сложности того времени. Кандидатуру Михаила Федоровича в 1613 году поддерживал отнюдь не влиятельный клан бояр Романовых, а стихийно сложившаяся в ходе работы Земского собора группа разгромленных ранее боярских группировок и великорусское казачество⁴. Между тем список иных претендентов на престол – даже с учетом отмены прежнего решения об избрании царем польского королевича Владислава и отклонения кандидатуры шведского королевича Филиппа⁵ – выглядел очень внушительно. В разных источниках в их числе называются Федор Мстиславский, Иван Воротынский, Федор Шереметев, Дмитрий Трубецкой, Дмитрий Мамстрю-

1 Полуторамесячное правление Федора Годунова – сына Бориса Годунова – не будем здесь учитывать как фактор, свидетельствующий о наличии „целой” царской династии.

2 См.: Л. Н. Гумилев, *От Руси к России. Очерки этнической истории*, Москва 1992, с. 218–238.

3 Анастасия Романовна, урожденная Захарьина-Юрьева (1530 или 1532–1560) была первой женой Ивана IV Грозного. Ранняя смерть царицы, которую считали отравленной, тяжело отразилась на душевном состоянии супруга.

4 Л. Н. Гумилев, *От Руси к России*, с. 233–234.

5 *Избрание Михаила Романова на царство. Начало династии Романовых*, <https://ria.ru/20130303/925359262.html> (режим доступа: 10.05.2019).

кович и Иван Борисович Черкасские, Иван Голицын, Иван Никитич Романов, Петр Пронский и Дмитрий Пожарский⁶.

До воцарения Михаила Романова могло бы не дойти, если бы его матери, инокине Марфе, удалось бы умолить своего сына не принимать столь тяжкое бремя, она не хотела благословить сына на престол, боясь, что русские люди „измалодушествовались” и могут погубить Михаила, как прежних царей⁷. Молодой Романов не пришел бы к власти, если бы не спас его деревенский мужик Иван Сусанин, который, обещав указать полякам путь в боярскую усадьбу, где пребывал Михаил, завел иноземцев в леса и там погиб с ними...

В этом множестве „если”, препятствовавшем воцарению в России династии Романовых, не значит один фактор, который при ином стечении обстоятельств мог привести к тому, что в историю российской государственности как именование самого славного царского рода была бы вписана иная фамилия... И причины тому были бы отнюдь не социальными, политическими, а лингвистическими...

Для аргументации этого если не абсурдного, то неординарного тезиса нам придется обратиться к истории имянаречения на русских землях.

В настоящее время никого не удивляет тот факт, что каждый человек обладает собственным именем и фамилией – такая номинация позволяет выделить носителя среди других людей. Однако такая модель именования существовала не всегда.

В дохристианскую эпоху использовалось только *личное имя*, которое, впрочем, с позиций современного человека не являлось именем как таковым; сегодня мы бы его воспринимали, скорее всего, как прозвище. Каждый человек получал личное имя при рождении; оно было связано с конкретным обстоятельством, в котором родился ребенок (напр., именем *Найден* нарекали найденыша; *Девятко* – девятого ребенка в семье), качествами, связанными с характером и поведением (напр. *Гневош*, *Пьянко*) или внешним видом (напр., *Толстоух* или *Чернява* – от цвета волос). Имя-прозвище могло быть также связано с профессией носившего его человека (напр., *Рыболов*), его социальным положением (напр. *Селянин*), либо происхождением (напр., *Чужаня*). В качестве имен использовались также насмешливые именованья (напр. *Дурьяня*), названия животных, птиц, насекомых, рыб, растений (напр. *Зайка*, *Хрен*) и даже слова, обозначающие пищу или предметы (напр. *Пирог*, *Алмаз*). Нередко имя выполняло охранную функцию – такие имена, как *Немил* или *Нелюба* должны отвлекать от ребенка нечистые силы при помощи отрицательного значения. Некоторые имена выступали в функции пожелания, т.е. должны обеспечить ребенка силой и здоровьем (напр. *Волк*, *Живко*)⁸.

После принятия христианства появились привычные нам календарные имена, которые часто сочетались с *личным именем*, приобретшим функцию

6 Там же.

7 Там же.

8 См.: А. В. Сулова, А. В. Суперанская, *О русских именах*, Ленинград 1985, с. 41–54; Ю. И. Чайкина, С. Н. Смольников, *История русских личных имен, отчеств и фамилий*, Вологда 2001, с. 35–52.

вторичного имени, напр., *Ивашко След* (крестьянин, 1495); *Яков Слизень* (новгородский посадник, 1476⁹). При этом в начале введения нового именованного календарные (христианские) имена, такие как *Венедикт*, *Наум* или *София* не пользовались большой популярностью. Славяне часто не понимали их значений и не были в состоянии их произносить. Только в XIV и позднейших веках христианские имена начали употребляться чаще, чем славянские. Однако дохристианские имена все еще использовались как неофициальные прозвища, а позже стали использоваться как фундамент в образовании русских фамилий.

Когда нарекания по именам – а их количество в христианском именованном слове, как известно, ограничено – стало недостатком для выделения человека в обществе, стали обращаться к разного рода патронимам (они могли происходить как от имени отца, деда и более далеких предков; могли также происходить от прозвища отца). Отчества „подлых”, то есть незнатных людей первоначально образовывались как краткая форма притяжательного прилагательного от соответствующего имени, напр.: *Гриша Григорьев сын* или *Ивашко Андреев сын* или проще *Васюк Истомин*, *Степан Игнатьев*¹⁰.

Форма мужского отчества с окончанием на *-ович/-евич* восходит к отчествам древнерусских князей. Именованное с *-овичем* считалось особой привилегией, такое право незнатным людям даровалось лично царем и за особые заслуги. Так, в 1610 году царь Василий Шуйский в благодарность за содействие купцов Строгановых в присоединении Урала и Сибири к Московскому государству повелел Максиму и Никите Строгановым и их потомкам писаться с *-вичем*¹¹.

Стоит отметить, что патронимы вообще сначала принадлежали только князьям, дворянам и боярам (у остальных слоев общества их не было вообще или только что начинали формироваться), позже право именоваться „по батюшке” получило купечество, а уже потом остальные слои общества.

В конце концов именно отчество нередко становилось фамилией, так как могло переходить как второе или третье именованное от сына к очередным потомкам (*Сергей Петров* [сын] *Дмитриев* [внук]).

В целом же формирование фамилий в России имело место в XVI–XVIII веках. Они могли возникать не только от имен предков, но и от территории, принадлежащей определенному человеку или от местности, из которой происходил данный человек (напр. *Сибирский*, *Ростовцев*). В конце XVIII и в XIX веке в церковной среде появлялись фамилии, созданные по образцу польских, белорусских и украинских – на *-ский* (напр. *Сокольский*)...

Интересующий нас вопрос именованного русских правителей в целом укладывается в представленную систему, однако имеет свою специфику. Стоит

9 Н. М. Тупиков, *Словарь древнерусских личных собственных имен*, Москва 2004, с. 361–362.

10 См.: О. Dogzick, *Антропонимикон „служилых людей” Ивана Грозного. (О формальных показателях социального статуса носителей имен)*, „Slavia Orientalis” nr 4, 2017, с. 663–664.

11 Д. Чернышев, *Как люди думают*, Москва 2013, с. 179.

вспомнить, напр., *Владимира Красное Солнышко*. Без сомнений, Владимир – это имя князя, *Красное Солнышко* – прозвище, приданное князю в связи с уважением и благодарностью подданных к своему правителю.

А как лингвистически истолковать именованья *Дмитрия Донского* и *Ивана Грозного*. Казалось бы, *Донской* и *Грозный* это фамилии, но на самом деле эпитеты-прозвища. У обоих князей были отчества; однако упомянутые определения придаются князьям в результате: совершенного подвига (в отношении Дмитрия Донского) или в связи с характеристикой правления (в отношении Ивана Грозного). А вот в случае именованья Николая Александровича Романова структура имени, несомненно, представляется иной – здесь мы видим традиционное для современности имя, отчество и фамилию.

Теперь, зная принципы именованья на Руси, мы можем обратиться к первому представителю знатной царской династии, чтобы рассмотреть модель его величания.

По отношению к Михаилу Федоровичу Романову с определением его имени, отчества и фамилии никаких сложностей не возникает, ясно, что Романов это фамилия.

Его отец, больше известный как митрополит Филарет¹² носил в миру имя Федор Никитич Романов – здесь также видим трехчленное именование по модели „имя – отчество – фамилия”. Федор Никитич свое отчество и фамилию приобрел в честь своих предков – отца, Никиты Романовича, и деда, Романа Юрьевича, именовавшегося, понятно, не Романовым, а Захарьиным – в честь отца – Захария Ивановича Кошкина¹³. То есть род Романовых двумя поколениями ранее назывался Захарьины-Кошкины. Элемент *Кошкины* представленный здесь вроде бы как продолжение отчества-фамилии, на самом деле восходит к патронимическому прозвищу. Отца Захария Ивановича Кошкина звали Иван Федорович Кошкин, отцом которого в свою очередь являлся Федор Андреевич. Его называли Кошкиным, Кошкой или Федором Андреевичем, прозвищем Кошка. Если Федор Андреевич Кошка считается прямым предком Романовых, последние могли бы носить не самую благозвучную для царской династии фамилию *Кошкины*, если бы существующая ныне система русского именованья сложилась чуть раньше.

Но это еще не конец именных метаморфоз. Отцом Федора Кошкина, первым исторически достоверным родоначальником Романовых был Андрей Иванович Кобыла, служивший при дворе московских князей Ивана Калиты и Симеона Гордого¹⁴. В Бархатной книге, где собраны родословные наиболее

12 В монахи Федор Никитич был пострижен насильно вместе с женой Ксенией Шестовой, когда все братья Романовы подверглись опале при Борисе Годунове.

13 См.: Романовы, [в:] *Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона*, <http://www.bibliotekar.ru/ber/206.htm> (режим доступа: 10.05.2019).

14 Нам практически ничего неизвестно о его жизни. Летописи упоминают его лишь однажды: в 1347 году он был послан в Тверь за невестой великого князя Симеона Гордого, дочерью князя тверского Александра Михайловича. С. Б. Веселовский, *Род Кобылы*, [в:] его же, *Исследования по истории класса служилых землевладельцев*, Москва 1969, с. 140–141.

знатных русских боярских и дворянских фамилий, говорится, что Андрей Кобыла прибыл на Русь из Пруссии¹⁵. На самом деле белое пятно в генеалогиях Романовых было заполнено в XVII веке при Петре I первым русским герольдмейстером С. А. Колычёвым. Семейное предание, впоследствии зафиксированное в „Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской Империи”, гласит, что в 305 году от Рождества Христова прусский король Прутенно отдал королевство брату Вейдевуту, а сам стал верховным жрецом своего языческого племени в городе Романове, где рос вечнозелёный священный дуб. Перед смертью Вейдевут разделил свое королевство между двенадцатью сыновьями. Одним из них был Недрон, род которого владел частью современной Литвы (самогитские земли). Его потомками были братья Руссинген и Гланда Камбила, которые приняли крещение в 1280 году, а в 1283 году Камбила приехал на Русь служить московскому князю Даниилу Александровичу. После крещения он и стал называться Иваном Кобылой¹⁶.

Современные историки, однако, считают эту версию несостоятельной, и приписывают появление этой легенды стремлению бояр подтвердить свое право на исключительность: среди бояр считалось престижным вести свое происхождение от западных фамилий. Крупный историк боярских фамилий С. Веселовский, а также ряд других исследователей, в том числе А. Зимин, возводят происхождение Андрея Кобылы к новгородской знати¹⁷.

Кобыла оставил после себя пять сыновей, от которых пошло многочисленное потомство: Александр Елка дал начало Колычевым, Гавриил Гавша – Бобрыкиным, а Федор Кошка является предком Романовых, Шереметевых, Яковлевых... Интересно, что ещё один сын Кобылы – родоначальник рода Лодыгиных и Коновницыных принял от отца „лошадиное” прозвище – *Семен Жеребец*. Впрочем, брат Андрея Кобылы – Федор – также именовался „по-лошадиному”. Его звали *Федором Шевлягиным*, а *шевляга* или *шевлюга* значит ‘кляча’. Подобная практика внутрисемейного „серийного” именования не была редкостью. Известно, что в Белозерье проживали три брата *Григорий Сапог*, *Дмитрий Башмак* и *Юрий Чулок* (кстати, все они были *Ивановы сыновья Романовы*)¹⁸. У потомков смоленских князей в XV в. употреблялись ботанические имена *Трава*, *Осока*, *Пырей*, *Щавель*. В роде *Линевых* (XV-XVI вв.) распространены были имена *Сом*, *Окунь*, *Ери*, *Карась*¹⁹.

Как видим, исследовательское внимание к истории русского языка дает возможность прийти к парадоксальному выводу. При определенном стечении обстоятельств не политического, а лингвистического характера (речь

15 См.: *Кобыла Андрей Иванович*, [в:] *Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона*, <http://bibliotekar.ru/bek2/242.htm> (режим доступа: 10.05.2019).

16 Там же.

17 См.: А. А. Зимин, *Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в.*, Москва 1988, с. 175.

18 См.: С. Б. Веселовский, *Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии*, Москва 1974, с. 185.

19 Ю. И. Чайкина, С. И. Смольников, *История русских личных имен...*, с. 43.

идет о процессе формирования отчеств и фамилий в русской практике именованья) сегодня мы могли бы говорить о величии не рода Романовых, но о великолепной династии Кошкиных, Кобылиных или Жеребцовых.

Список использованной литературы

- Веселовский С. Б., *Род Кобылы*, [в:] его же, *Исследования по истории класса служилых земледельцев*, Москва 1969, с. 140–141.
- Веселовский С. Б., *Ономастикон, Древнерусские имена, прозвища и фамилии*, Москва 1974.
- Гумилев Л. Н., *От Руси к России. Очерки этнической истории*, Москва 1992.
- Зимин А. А., *Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в.*, Москва 1988.
- Сулова А. В., Суперанская А. В., *О русских именах*, Ленинград 1985.
- Тупиков Н. М., *Словарь древнерусских личных собственных имен*, Москва 2004.
- Чайкина Ю. И., Смольников С. Н., *История русских личных имен, отчеств и фамилий*, Вологда 2001.
- Чернышев Д., *Как люди думают*, Москва 2013.
- Dorczuk O., Антропонимикон „служилых людей” Ивана Грозного. (О формальных показателях социального статуса носителей имен), „Slavia Orientalis” nr 4, 2017, с. 635–650.

Интернет-ресурсы

- Избрание Михаила Романова на царство. Начало династии Романовых*, <https://ria.ru/2013-0303/925359262.html> (режим доступа: 10.05.2019).
- Кобыла Андрей Иванович*, [в:] *Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона*, <http://bibliotekar.ru/bek2/242.htm> (режим доступа: 10.05.2019).
- Романовы*, [в:] *Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона*, <http://www.bibliotekar.ru/ber/206.htm> (режим доступа: 10.05.2019).

Daria Wojciechowska

studentka II roku Filologii Rosyjskiej UJ

POPROSZĘ „3 × TAK”, „SKĄPĄ MARYŚKĘ”, „RYBNY MELANŻ” I „ROSYJSKĄ RULETKĘ”

Gdzie może wystąpić takie zamówienie? W jakim miejscu, odnośnie do jakich produktów? „Rybny melanż” zapewne będzie produktem zawierającym rybę, z kolei „3xTak”, „Skąpa Maryśka” i „Rosyjska ruletka” może odnosić się do alkoholu czy napojów, serwowanych na przykład w pubie. „Skąpa Maryśka” może zawierać mało składników, a „Rosyjska ruletka” zapewne nas zaskoczy. Powtórzę, więc pytanie: gdzie może wystąpić takie zamówienie? Przeanalizowałam 94 nazwy pizz z trzech krakowskich pizzerii: „Pizzeria Rewolucja”, „Wiejska chata” i „Pizzeria Coloratta”. Wszystkim z tych nazw nie można odmówić oryginalności. Nie ulega wątpliwości, że tworzący je autorzy korzystali z efektu precedencji.

Pierwszym, który w latach 80-tych XX wieku wydzielił i podał definicję tekstu precedensowego, był Jurij Karaulo¹. Według rosyjskiej badaczki E. Kulikowej tekst precedensowy jest znaczący dla człowieka poznawczo i emocjonalnie, posiada charakter ponadjednostkowy, to znaczy że jest dobrze znany szerokiemu kręgowi ludzi, którzy są zespoleni wspólnym językiem oraz kulturą, włączając w to ludzi żyjących wcześniej jak i współcześnie². W dyskursie tego rodzaju tekst pojawia się na przykład jako cytaty czy aluzje i podlega ciągłej reinterpretacji. Tekstami precedensowymi są między innymi dzieła literackie, mity, bajki, przysłowia, legendy, piosenki, powiedzenia, ale również na przykład teksty polityczne. Jak pisze Elżbieta Gos:

Znajomość tekstów precedensowych jest wskaźnikiem przynależności do pewnej epoki i jej kultury, i choć w różnych okresach różne teksty można uważać za precedensowe, to dla każdej wspólnoty językowo-kulturowej wskazać można zbiór tekstów ważnych kulturowo, istotnych czy wprost niezbędnych dla poczucia wspólnoty, tożsamości narodowej³.

1 Ю. Н. Караулов, *Русский язык и языковая личность*, Москва 1987, с. 216.

2 См.: Е. В. Куликова, *Рекламный текст через призму прецедентных феноменов*, „Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского” № 6, 2010, с. 334.

3 Е. Gos, *Co to jest tekst precedensowy?*, „Przegląd Rusycystyczny” nr 4, 2006, s. 79.

Przykładem przejawu precedentności może być sformułowanie „współcześni Romeo i Julia”, które oznacza nieszczęśliwą miłość oraz nawiązuje do tragedii Wiliama Shakespeara, oraz wyrażenie: „Napoleon kolarstwa”, które odnosi się do Lanca Armstronga – pięciokrotnego zwycięzcy Tour de France⁴, jest to nawiązanie do historii, oznaczające człowieka, który odniósł sukces.

Celem tekstów precedensowych jest gra z odbiorcą. Są one atrakcyjne, dlatego chętnie wykorzystuje się je w języku reklamy⁵. Służą do formowania i utrwalania u konsumenta pozytywnego obrazu usługi, mają go zainteresować i skłonić do zakupu. Teksty precedensowe odsyłają nas do innych (zazwyczaj) znanych nam tekstów kultury, które w naszej podświadomości mają już pozytywne asocjacje⁶. W ten sposób związane reklamy, zostają rozszerzone o dodatkowe informacje. Ponadto, wykorzystanie znanego tekstu w nowym kontekście przyciąga uwagę i zapada nam w pamięć. Z tego powodu precedens jest chętnie wykorzystywany przy tworzeniu różnych reklam, sloganów etc. W niniejszej pracy skupię się na analizie precedensu w nazwach pizz.

Ciekawym i zapewne dla niektórych zaskakującym przykładem nazwy pizzy z podtekstem jest „Margarita”. Danie powstało w 1889 roku na cześć włoskiej królowej Małgorzaty i od jej imienia zawdzięcza swoją nazwę. Piekarz Rafaele Esposito przygotował specjalnie dla królowej pizzę, która symbolizować miała barwy narodowe: czerwień – pomidory, biel – ser mozzarella i zieleń – bazylię⁷. Oczywiście, nie zawsze korzysta się z takiego precedensowego zabiegu. Często, używa się utartych nazw, które można znaleźć w menu prawie każdej pizzerii, np. nazwy pochodzące z języka włoskiego, od składników jakie pizza zawiera („Funghi” czyli ‘pieczarka’), czy nazwy od miast czy państw („Mexicana” czyli Meksykańska).

Jednak, jak już wspomniano, naszą uwagę przyciągają gry słowne zawierające w sobie elementy precedentności.

Nietrudno zauważyć, że do nadawania nazw pizzom nierzadko wykorzystuje się słowa zaczerpnięte z języka potocznego, które przyciągają uwagę konsumenta na danie, ale nie zawsze odnoszą się do użytych w pizzy składników. Dzięki wykorzystaniu mowy potocznej, stają się one łatwe do zapamiętania oraz atrakcyjne. Takim przykładem może być „Pali gęba”, gdzie dzięki zastosowaniu języka potocznego, można w zwięzły sposób przekazać, że pizza jest pikantna. Użycie odpowiadającego zwrotu np. „piecze w ustach”, nie zapada tak w ucho jak „Pali gęba” oraz nie oddaje tego samego znaczenia. Innym przykładem może być „Rybny melanz”. „Rybny”, a więc zawiera rybę, a melanz to potoczne określenie imprezy oraz jest to

4 Później jednak wszystkie trofea zostały mu odebrane za stosowanie niedozwolonych środków dopingujących.

5 Zob.: E. В. Куликова, *Языковая специфика рекламного дискурса*, „Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского” №, 2008, с. 197–205; Ю. Боян, *Функционирование прецедентных имен, цитатий и квазицитатий в рекламном тексте*, [в:] *Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи*, Умань 2016, с. 15–24.

6 E. В. Куликова, *Рекламный текст через призму прецедентных феноменов*, с. 335.

7 *Skąd wywodzi się nazwa najsłynniejszej włoskiej pizzy margherita?*, <http://tworzenienazw.pl/skad-wywodzi-sie-nazwa-najsłynniejszej-wloskiej-pizzy-margherita/> [dostęp 11.05.2019].

tkanina złożona z nitek o różnych barwach⁸. Takim sposobem możemy tą nazwę zrozumieć jako pizzę składającą się z wielu kolorów (składników), oraz doskonale nadającą się na imprezę. Kolejnym przykładem jest „Wypas Jarosza”. Potoczne słowo „wypas” oznacza „coś fajnego”, z kolei Jarosz to osoba, która jada jarskie produkty, czyli bez mięsa. Tym sposobem bez problemu można się domyślić, że ta pizza jest wegetariańska oraz zawiera dużo składników.

Istnieje jeszcze sposób tworzenia nazw pizzy prezentujący nawiązanie do filmów, muzyki, czy literatury. Przy użyciu istniejących dzieł, można odnieść się do panujących w społeczeństwie skojarzeń, a przy tym rozszerzyć znaczenie nazwie pizzy albo dodać nowe. Takim przykładem może być tytuł „Janosik”, nazwa popularnego polskiego serialu z lat 70, opowiadający o przygodach górala Janosika i jego zbójczej bandy. Dlatego nazwa ta kojarzy nam się z górami, góralami a więc i składnikami z tamtejszych rejonów Tatr, takich jak ser wędzony z żurawiną. Kolejnym przykładem są „Ananasy z pierwszej klasy”, który w oczywisty sposób nawiązuje do książki Karola Szpalskiego i Mariana Załuckiego „Ananasy z naszej klasy” – zbioru zabawnych wierszyków, a określenie użyte w tytule weszło do języka jako nazwa pierwszoklasistów. Łatwo się domyślić że pizza ta zawiera ananasa, a zamiana „naszej klasy” na „pierwszą klasę” oznacza coś bardzo dobrego, doskonałej jakości. Pizza „Zielono mi” nawiązuje do piosenki o takim samym tytule, a w skład pizzy wchodzi różne „zielone” składniki, jak oliwki czy brokuły. Z kolei pizza o chwytliwej nazwie „Raz, dwa, trzy, te składniki wybierz Ty” nawiązuje do dziecięcych wyliczanek, takich jak: „Na ulicy Reja złapano złodzieja, a ten złodziej był czarodziej i powiedział tak: raz, dwa, trzy, odchodź ty”⁹! Nazwa pizzy wylicza składniki – można wybrać sobie trzy dowolne składniki.

W kolejnej grupie nazwa pizzy została oparta na humorystycznym nawiązaniu do składników pizzy. Dopiero po zapoznaniu się ze składnikami, można w pełni zrozumieć dlaczego nadano jej taką a nie inną nazwę. Interesującym przykładem będzie pizza z restauracji „Wiejska chata”, o nazwie „Skąpa Maryśka”. Aby w pełni zrozumieć, konieczne jest zwrócenie uwagi na nazwę pizzerii, dzięki temu możemy zrozumieć że imię nie jest przypadkowe. Imię Maria było popularne na wsi. Z kolei wyraz „skąpa”, zrozumiemy, kiedy zobaczymy skład tej pizzy: ser, sos pomidorowy i oregano, a więc jest to pizza skąpa, uboga w składniki. Kolejnym przykładem jest „Rosijska ruletka”, trudno samodzielnie określić dlaczego akurat nosi taką nazwę. Wystarczy spojrzeć w menu. Pizza składa: ¼ kurczaka, ¼ kukurydzy, ¼ tuńczyka i ¼ szynki i wtedy docenimy ten humorystyczny akcent. Warto zwrócić również uwagę na danie o nazwie „Samoobrona”, która nawiązuje do nazwy partii chłopskiej założonej przez Andrzeja Leppera. W skład pizzy wchodzi boczki, cebula i „dużo” czosnku – jawne atrybuty chłopskiego jadła. „Pizza jajczarna” od razu kojarzy się z „jajczarem”, w znaczeniu potocznym, to jest osoba

8 *Słownik języka polskiego*, red. M. Szymczak, t. 2, Warszawa 1979, s. 135.

9 *Wyliczanki. Zagadki. Kolorowanki*, <http://wyliczanki.net/wyliczanka/na-ulicy-reja-zlapano-zlodzieja-8> [dostęp 11.05.2019].

która często robi sobie żarty, dowcipy czy „jajami” co po prostu znaczy kawał. Jak można się domyślić w jej skład wchodzi jajko.

Interesująca grupa nazw pizz, przy tworzeniu której wykorzystuje się gry słowne. Kalambur przyciąga uwagę odbiorcy, gdyż są to krótkie charakterystyczne nazwy, często wydzielone graficznie, aby ukazały na pierwszy rzut oka tę niejednoznaczność. Doskonałym przykładem jest „Dla CHE go nie?”, jeśli nie ujrzy się graficznej formy, trudno zrozumieć przekaz. Podstawowym znaczeniem jest zapytanie „dlaczego nie?”, a więc „dlaczego nie zamówić tej pizzy?”, drugim akcentem jest nawiązanie do Che Guevary, który był jednym z przywódców rewolucji Kubańskiej. Aby pojąć co Che Guevara ma do pizzy, trzeba zwrócić uwagę na nazwę pizzerii – „Pizzeria rewolucyjna”, wtedy wszystko staje się zrozumiałe. Kolejną pizzą z tej pizzerii jest „PARTYjna”, w tym przypadku również zachodzi wydzielenie graficzne i jeśli nie widzimy tej nazwy, a ktoś czytając nie zaakcentuje tego podziału, nazwa straci swą dwuznaczność. Pierwszym elementem tej gry słownej, która zwraca naszą uwagę jest słowo „party” pochodzące z języka angielskiego oznaczające przyjęcie czy imprezę, co może nam sugerować, że jest to pizza odpowiednia na imprezy. Z kolei druga część „partyjna” nawiązuje do nazwy pizzerii. Innym przykładem gry słownej i wydzielenia graficznego jest nazwa pizzy „A NA NAS POLEGAJ”, na początku zwracamy uwagę na wyróżnioną część zdania, to znaczy na to że możemy polegać na tej pizzerii, czy też tej pizzy. Potem dostrzegamy drugą część tej nazwy, a mianowicie „ananasa”, co sugeruje nam jaki składnik zawiera ta pizza.

Następna wydzielona grupa tworzy nazwe pizz na podstawie reinterpretacji akronimów. Skróty powszechnie znane, niekiedy mające pejoratywne asocjacje, zostały rozwinięte w pomysłowy i zabawny sposób. Skutecznie przyciągają uwagę konsumenta i przy tym bawią. Czyli zdecydowanie osiągają swój cel a mianowicie, zachęcają do kupna. Każdemu znany „P.G.R.” czyli państwowe gospodarstwo rolne, w „Pizzerii Rewolucja” zaskakuje nowym rozwinięciem skrótu i staje się „Pizzą Głównie Robotniczą”. Oczywiście ma prosty skład, w końcu jest określona przymiotnikiem „robotnicza”. Nowe znaczenie zyskuje również „M.O.”, kiedyś Milicja Obywatelska, a w pizzerii funkcjonująca jako „Morskim Okiem”, to rozwinięcie skrótu może nie do końca jest właściwe, gdyż od razu ta nazwa kojarzy się nam z Morskim okiem położonym w Tatrach, a jest to pizza z owocami morza. Również zabawnym oraz niespodziewanym rozwinięciem skrótu jest „S.L.D” czyli powszechnie znany Sojusz Lewicy Demokratycznej, który w „Pizzerii Rewolucja” zyskuje nowe znacznie „Szpinaku Lekko Doprąwionego”.

Nazwy kolejnej grupy są oparte na wydarzeniach historycznych, wszystkie pizze występują w „Pizzerii Rewolucja”. Są one już mniej oczywiste i trzeba posiadać pewną wiedzę historyczną, w innym wypadku nie zawsze nazwa będzie zrozumiała dla odbiorcy. Doskonałym tego przykładem może być „Nikita na tropie”, od razu nasuwa się na myśl Nikita Chruszczow, gorzej już z drugą częścią, z początku nie wiadomo jak rozszyfrować tę nazwę. Ale gdy się chwilę zastanowi, czy też sięgnie do książki historycznej, można domyśleć się, że chodzi tutaj o ujawnienie części prawdy o krwawych aspektach rządów Stalina i jego ofiarach,

czy może o rehabilitację ofiar terroru. Kolejna nazwa jest łatwiejsza do rozszyfrowania, mowa o pizzy „3 x TAK”, jest to nazwa dwuznaczna, zacznę od prostszej opcji, pizza składa się z trzech składników, a więc „trzy razy na tak”. Stanowi to również nawiązanie do referendum z 1946 roku, odbyło się wtedy referendum ludowe, w którym padały trzy pytania: „Czy chcesz zniesienia senatu?”, „Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?” oraz „Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?”. Powstały w tym okresie liczne plakaty propagujące głosowanie 3 razy tak, co oznaczało głosowanie za utraceniem przez Polskę niezależności. Referendum to zostało sfałszowane.

Kolejną wydzieloną w nazewnictwie pizzy jest grupa opierająca się na wykorzystaniu elementów nowomowy – języka propagandy ZSRR oraz PRL¹⁰. Nazwy te nie łączą się w żaden szczególnie sposób ze składnikami pizzy, użyte zostały aby zaciekawić, zaskoczyć a może nawet i szokować konsumentów, a przez to skłonić do zakupu. Takim przykładem, który bezpośrednio nawiązuje do „Pizzerii Rewolucji” jest pizza „Imperialistyczny wróg” zwrot ten został zaczerpnięty z jednego z haseł propagandowych z czasów PRL-u, „Imperialistyczny wróg kusi cię coca-colą”. Nazwa ta jest utrzymana w tonie innych z tej pizzerii, mających nasuwać konkretne skojarzenia, wprowadzić odpowiedni nastrój, zachęcić odbiorców, aby zapoznali się z ofertą tej pizzerii. Innym przykładem może być nazwa „Placyk czerwony” w której od razu można dostrzec nawiązanie do położonego w centrum Moskwy Placu Czerwonego. Ciekawym przykładem jest pizza „Czy się stoi czy się leży, 6 składników się należy”, nawiązuje ona do popularnego powiedzenia z czasów PRL „Czy się stoi czy się leży, dwa tysiące się należy”. W nazwie pizzy zawarta jest informacja, że na produkt składa się 6 składników, które każdy samodzielnie może sobie wybrać.

Ostatnią grupą są nazwy, w których wykorzystuje się motywy ze współczesnej polityki. Przykładem może być każdemu znany skrót P.I.S. – Prawo i Sprawiedliwość, w pizzerii „Rewolucja” zyskuje nowe znaczenie, a mianowicie Prezes i Składniki, jest to nawiązanie do Jarosława Kaczyńskiego założyciela i obecnego szefa partii PIS oraz do składników pizzy. Kolejnym przykładem jest pizza „Dobra zmiana”, zawiera ona nowy składnik, który zmienia pizzę na lepsze, oraz jest to nawiązanie do hasła wyborczego partii P.I.S., które partia wykorzystywała w 2015 roku startując w wyborach. Innym przykładem jest jeszcze pizza „Pomarańczowa rewolucja” – w skład pizzy wchodzi mandarynki, nawiązuje ona również do wydarzeń mających miejsce w 2004 roku czyli do zmiany na scenie politycznej Ukrainy. Kolor pomarańczowy był kolorem sztabu wyborczego Wiktora Juszczenki.

Ze względu na swoje liczne możliwości, efekt precedensu często wykorzystywany jest w reklamach, czy choćby w języku kulinariów. Pomaga zawrzeć wię-

10 Zob. M. Głowiński, *Nowomowa po polsku*, Warszawa 1991.

cej informacji w krótkiej nazwie, rozszerzyć ją o dodatkowe znaczenia, asocjacje, może również nawiązywać do znanych dzieł kultury, czy zawierać gry słowne co dodatkowo zwiększa atrakcyjność i przyciąga uwagę odbiorcy. Przy tworzeniu nazw pizz można skorzystać z kilku sposobów, w zależności o jaki efekt chodzi twórcy. W pizzerii „Coloratta”, nazwy pizz większości są zaczerpnięte z języka włoskiego oraz odnoszą się do głównych składników zawartych w pizzy. Oglądając menu „Wiejskiej chaty” zwrócimy uwagę na zastosowanie wielu zwrotów z języka potocznego oraz nawiązań do kultury. Tematem przewodnim, którym kierowała się „Pizzeria Rewolucja” była rewolucja oraz aktualna sytuacja polityczna. Chociaż większość nazw odnosi się do wydarzeń historycznych, kultury oraz języka propagandy ZSRR oraz PRL, autorzy nie pomijają także przejawów teraźniejszego życia politycznego.

Jak można zauważyć, w tak – z pozoru – prostym procesie jak przyswojenie nazwy popularnego produktu, przedsiębiorstwom lub marketingowcom przychodzi podejmować językową grę, zwracając się do specjalnych znaczeń czytelnych dla danej zbiorowości, nierzadko również wpływających na ludzkie postrzeganie rzeczywistości.

Bibliografia

- Głowiński M., *Nowomowa po polsku*, Warszawa 1991.
- Gos E., *Co to jest tekst precedensowy?*, „Przegląd Rusycystyczny” nr 4, 2006, s. 78–84.
- Skąd wywodzi się nazwa najsłynniejszej włoskiej pizzy margherita?, <http://tworzenienazw.pl/skad-wywodzi-sie-nazwa-najslynniejszej-wloskiej-pizzy-margherita/> [dostęp 11.05.2019].
- Słownik języka polskiego*, red. M. Szymczak, t. 1–3, Warszawa 1978–1981.
- Wyliczanki. Zagadki. Kolorowanki*, <http://wyliczanki.net/wyliczanka/na-ulicy-reja-zlapano-zlodzieja-8> [dostęp 11.05.2019 17.34].
- Божю Ю., *Функционирование прецедентных имен, цитаций и квазицитаций в рекламном тексте*, [в:] *Слов'янська філологія: історія, сьогодення, перспективи*, Умань 2016, с. 15–24.
- Караулов Ю. Н., *Русский язык и языковая личность*, Москва 1987.
- Куликова Е. В., *Рекламный текст через призму прецедентных феноменов*, „Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского” № 6, 2010, с. 334–340.
- Куликова Е. В., *Языковая специфика рекламного дискурса*, „Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского” №, 2008, с. 197–205.

I. Dział literaturoznawczy

Ewelina Lech

studentka II roku Filologii Rosyjskiej UJ

BAJKA O WYPRAWIE PO ŻŁOTEGO PTAKA W LITERATURZE ZACHODNIOEUROPEJSKIEJ I ROSYJSKIEJ

Wyprawa po złotego ptaka to bajka typu 550 według klasyfikacji Aarne-Thompsona. W swojej pracy będę porównywać rosyjską wersję tej bajki, zamieszczoną przez Aleksandra Afanasiewa w zbiorze *Народные русские сказки*¹, zatytułowaną *Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке* oraz wersję braci Grimm ze zbioru *The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm*², która nosi tytuł *The Golden Bird*. Bajkę do zbioru włączył i przetłumaczył na język angielski Jack Zipes. Dla lepszego zrozumienia i wyjaśnienia różnic będę się również odwoływać do szwedzkiego i francuskiego wariantu tej bajki, odpowiednio: *The Bird Grip* oraz *The Golden Blackbird* (przetłumaczone przez Andrew Langa i włączone do zbiorów *The Pink Fairy Book*³ oraz *The Green Fairy Book*⁴).

Zamierzam omówić najważniejsze różnice, bez skupiania się na każdym najmniejszym detalu. Nad pewnymi różnicami nie będę się pochylać (np. jak najmłodszy syn zdobywa pióra złotego ptaka), gdyż są one po prostu wariantami danej czynności i nie wnoszą nic do moich rozważań.

Język

Podstawowa konstrukcja zarówno niemieckiej jak i rosyjskiej bajki o wyprawie po złotego ptaka opiera się na tych samych elementach: bracia wyruszają na poszukiwania magicznego ptaka, ale tylko najmłodszemu bratu pomaga magiczny pomocnik. Z pomocą magicznego zwierzęcia zdobywa on złotego ptaka, złoto-grzywego konia i piękną księżniczkę. Wracając do domu spotyka starszych braci, którzy powodowani zazdrością mszczą się za swoje niepowodzenia na nim. Na

1 A. Афанасьев, *Русские народные сказки*, [https://ru.m.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_\(Афанасьев\)/Сказка_об_Иване-царевиче,_жар-птице_и_о_сером_волке](https://ru.m.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Сказка_об_Иване-царевиче,_жар-птице_и_о_сером_волке) [dostęp 30.04.2018].

2 J. Zipes, *The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm*, Princeton 2014, s. 185–191.

3 A. Lang, *The Pink Fairy Book*, New York, London and Bombay 1897, s. 132–142.

4 A. Lang, *The Green Fairy Book*, New York and Bombay 1906, s. 151–156.

ratunek przychodzi mu jednak magiczne zwierzę-pomocnik, niegodziwych braci spotyka kara, a najmłodszy brat żeni się z księżniczką. Pomimo tak podobnych schematów, obie wersje bajek ukształtowały się jednak bardzo odmiennie.

Pierwszą kwestią, która zwraca uwagę czytelnika/słuchacza jest język bajki. *Сказка об Иване-царевиче...* jest nasyciona stałymi epitetami („Иван-царевич”, „серый волк”, „сын мой любезный”, „милостивый государь-батюшка”, „зелёный дуб”), które spotyka się w tej bajce wielokrotnie. Bajka ma swój rytm, wiele stałych sformułowań rymuje się („был-жил царь”; „в некотором царстве, некотором государстве”; „скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается” czy „жар-птица прилетала и яблоки щипала”; „сели за столы дубовые, за скатерти браные”). Warto zwrócić szczególną uwagę na wyrażenie „ох ты гои еси”. Jest to sformułowanie związane z językiem i kulturą wschodniosłowiańską. Oprócz bajek spotyka się je również w bylinach czy pieśniach. Jest to formuła, którą używano, gdy zwracano się do kogoś lub z kimś witało⁵. Co ciekawe, w bajce tego zwrotu używają wyłącznie szary wilk oraz władcy innych carstw i tylko w sytuacjach, gdy konfrontują się z Iwanem, który złamał dany zakaz (nie posłuchał rady szarego wilka, ukradł własność cara).

Interesujące podejście do zjawiska tzw. formuliczności języka literatury oralnej podjął w swojej pracy pt. *Традиционные формулы сказки* Rosianu. W książce *Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury*⁶ Jolanta Ługowska streszcza wnioski, do jakich doszedł Rosianu:

Rosianu zwrócił uwagę na fakt posługiwania się przez ludowych narratorów pewnymi stabilnymi połączeniami słów, tzw. formułami, służącymi do werbalizowania typowych ogniw fabularnych. Do istotnych walorów wymienionej rozprawy należy rozszerzenie zjawiska formuliczności na cały tekst bajki, a nie tylko wiązanie go głównie z początkiem i końcem opowiadania, tradycyjnie uznawanymi za najbardziej stereotypowe miejsca w fabule utworów reprezentujących ten gatunek. [...] Rosianu [...] zwrócił uwagę na możliwość uzgodnienia i połączenia poszczególnych elementów wymienianych przez Proppa w jego modelu struktury fabularnej z „szatą słowną”, w jakiej określone schematy kompozycyjne realizują się w konkretnej wypowiedzi. Efektem tych badań stało się stwierdzenie, że wszystkie najważniejsze ogniwa fabularne (najistotniejsze momenty w rozwoju akcji) wyrażane są w sposób stereotypowy, wspólny dla różnych wariantów bajkowych, tzn. za pomocą stabilnych połączeń słownych⁷.

Rzeczywiście, w bajce odnajdziemy sformułowania, które mogłyby się znaleźć w dowolnej bajce magicznej, pod warunkiem, że dane ogniwo fabularne w niej występuje. Dla przykładu: element bajki, w której Iwan opuszcza dom i wyrusza na poszukiwania ognistego ptaka Propp nazywa funkcją XI⁸. U Afanasjewa czytamy zatem: „и поехал в путь, и ехал, сам не зная, куды едет. Едучи путём-до-

5 *Большой толковый словарь русского языка*, red. С. А. Кузнецов, <http://gramota.ru/slovari/dic/?game=x&all=x&word=%E3%EE%E9> [dostęp 26.03.2019].

6 J. Ługowska, *Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury*, Wrocław 1981, s. 20.

7 Tamże, s. 20.

8 W. Propp, *Morfologia bajki magicznej*, Kraków 2011, s. 39.

рогою, близко-ли, далеко-ли, низко-ли, высоко-ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается⁹.

Inny przykład: funkcja XV – przemieszczenie w przestrzeni między dwoma królestwami, przewodnictwo w drodze¹⁰. W bajce ze zbioru Afanasjewa znajdziemy fragment: „а волк побежал так скоро, аки стрела, и бежал он долго ли, коротко ли, наконец прибежал в государство царя Афрона ночью¹¹”.

Inaczej sprawa ma się z bajką braci Grimm. Próżno szukać tam tak licznych i rozbudowanych sformułowań, jak w wariacie rosyjskim. Właściwie jedynym takim sformułowaniem jest opis podróży księcia na lisie: „The fox raced over sticks and stones so swiftly that the wind whistled through the prince’s hair¹²”. Formuła ta powtarza się w bajce trzykrotnie. Można winić przekład. W opisie książki czytamy jednak, że:

Esteemed fairy tale scholar Jack Zipes offers accessible translations that retain the spare description and engaging storytelling style of the originals. Indeed, this is what makes the tales from the 1812 and 1815 editions unique – they reflect diverse voices, rooted in oral traditions, that are absent from the Grimms’ later, more embellished collections of tales¹³.

Zipes dąży więc do jak największej wierności wobec oryginału. Warto również przyjrzeć się źródłom bajkowych tekstów. Tekst rosyjskiej bajki Afanasjew zaczerpnął z utworu *Дедушкины прогулки*¹⁴, a Braciom Grimm miała za to ową bajkę opowiedzieć Gretchen Wild¹⁵. O samym zbieraniu i spisywaniu bajek przez braci Grimm Philip Pullman, brytyjski pisarz i wykładowca, pisze:

Źródła, z których korzystali, były zarówno mówione, jak i pisane. Ale nie robili jednego – nie wędrowali po wsiach, by szukać chłopów i spisywać słowo w słowo ich opowieści. Niektóre baśnie braci Grimm pochodzą bezpośrednio ze źródeł literackich [...] Większość pozostałych dotarła do braci w formie mówionej, za pośrednictwem ludzi należących do różnych sfer klasy średniej¹⁶.

Być może więc sam sposób spisywania bajek zaważył na ich ostatecznym kształcie. Odmienność w szacie językowej może jednak wynikać po prostu z kultury danego narodu. Osoby z kręgu wpływów kultury wschodniosłowiańskiej, które opowiadały bajki mogły mieć tendencję do ozdobnego, rytmicznego kształtowania języka, podczas gdy niemieckojęzyczny tzw. *storyteller* dążył do prostoty przekazu. Możliwe, że z tego właśnie powodu bajka braci Grimm jest krótsza i występuje w niej mniej dialogów.

9 А. Афанасьев, *Русские народные сказки*.

10 W. Propp, *Morfologia bajki magicznej*, s. 49.

11 А. Афанасьев, *Русские народные сказки*.

12 J. Zipes, *The Original Folk...*, s. 185.

13 Opis książki z portalu *Goodreads*, https://www.goodreads.com/book/show/21981650-the-original-folk-and-fairy-tales-of-the-brothers-grimm?from_search=true [19.04.2019].

14 Д. С. Лихачев, *Об изучении древней русской литературы в Академии наук за 250 лет ее существования (несколько общих наблюдений)*, „Русская литература” nr 2, 1974, s. 4.

15 P. Pullman, *Baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży bez cenzury*, Poznań 2015, s. 10.

16 Tamże, s. 10.

Fabuła

Po omówieniu języka bajki czas przejść do samych wydarzeń i postaci. I tutaj na czytelnika, który najpierw zapoznał się z rosyjskim wariantem bajki czekają zaskoczenia. U braci Grimm to nie książę wyrusza na poszukiwania ptaka, ale syn ogrodnika, który miał troszczyć się o ogród króla. W francuskim i szwedzkim wariacie znowu spotykamy się jednak z królewskim synem, zdaje się więc, że postać ogrodnika i jego synów jest typowa tylko dla niemieckiej wersji tej bajki. Dla bajkowej fabuły jednak to, czy głównym bohaterem jest osoba z ludu czy król, nie ma znaczenia.

Różne są motywacje poszukiwań złotego ptaka. U Afanasjewa car po prostu wysłał synów po ognistego ptaka. Być może jest to związane z niezwykłymi właściwościami pióra (położone w ciemnej komnacie świeciło, imitując płomień wiatru), nie jest to jednak powiedziane wprost. Syn ogrodnika ma znaleźć ptaka, bo król ze swymi doradcami stwierdził, że jedno pióro jest warte więcej niż całe królestwo i władca pożąda teraz całego ptaka. Za to w pozostałych wariantach pióra są potrzebne, aby wyleczyć króla (w *The Bird Grip* mają wyleczyć ze ślepoty).

Dalej w bajce spotykamy się z sytuacją, gdzie bohaterowie stają w obliczu zakazu/są poddawani próbie/zyskują magicznego pomocnika. O ile u braci Grimm przekaz jest dość przejrzysty, o tyle u Afanasjewa trudno jednoznacznie stwierdzić, czy bohater rzeczywiście łamie jakiś zakaz i przechodzi próbę. Synowie ogrodnika wędrując spotykają lisa, który udziela im rad: Mają nie zatrzymywać się na noc w gospodzie: „brightly lit, with a great deal of merrymaking inside¹⁷”. Zamiast tego powinni udać się do drugiej karczmy, która wygląda ponuro. Starsi bracia drwią z rady lisa i strzelają¹⁸ w niego. Tylko najmłodszy syn jest dobry dla zwierzęcia i postępuje zgodnie z jego wskazaniem. Dzięki temu zyskuje magicznego pomocnika. Tymczasem Iwan Carewicz nie spotyka lisa, który dałby mu dobrą radę w rosyjskiej wersji bajki:

[...] наконец приехал он в чистое поле, в зелёные луга. А в чистом поле стоит столб, а на столбу написаны эти слова: „Кто поедет от столба сего прямо, тот будет голоден и холоден; кто поедет в правую сторону, тот будет здоров и жив, а конь его будет мёртв; а кто поедет в левую сторону, тот сам будет убит, а конь его жив и здоров останется”.

Iwan jedzie w prawo. Podbiega do niego szary wilk i rozrywa konia Iwana na dwie części, po czym znika. Wilk zdaje się jednak niechętnie zabijać konia carewicza: „Ох ты гой еси, молодой юноша Иван царевич! Ведь ты читал, на столбе написано, что конь твой будет мёртв; так зачем сюда едешь¹⁹”. Iwan płacze

17 J. Zipes, *The Original Folk...*, s. 186.

18 Warto w tym miejscu odnotować, że bracia strzelają do lisa z broni palnej: *he took his rifle and pulled the trigger*. Czytelnik/słuchacz ma więc pojęcie, kiedy historycznie mają miejsce przedstawione wydarzenia. W wariacie rosyjskim brak elementów, które pozwoliłyby traktować tę bajkę jako twór czasów bardziej nam współczesnych. Czy *Сказке об Иване-царевиче...* jest więc starsza niż *The Golden Bird*?

19 А. Афанасьев, *Русские народные сказки*.

za swoim koniem i wędruje pieszo, gdy wtem pokazuje się mu szary wilk, mówiąc, że jest mu żal Iwana, że musi iść pieszo, bo nie ma już dobrego konia. W efekcie Wilk zostaje magicznym pomocnikiem carewicza.

Jeśli można napis na kamiennym słupie nazwać zakazem, to jest to zakaz nie-typowy. Zazwyczaj bohater ma wybór tak-nie, łamać zakaz-nie łamać zakazu. Tutaj nie da się go nie złamać; trzeba by zawrócić z drogi, a wtedy nie byłoby bajki. Synowi ogrodnika lis pomaga, bo ten był dla niego dobry, przechodzi próbę, nie łamie zakazu. Dlaczego wilk pomaga Iwanowi? Przecież złamał zakaz, z góry wiedział, co się stanie z jego koniem, wiedział, że będzie musiał iść pieszo. Jeżeli to była próba, to bohater ją przeszedł czy nie? Obie te sytuacje miały doprowadzić do zdobycia magicznego pomocnika. Niektórzy badacze odwołują się w tym miejscu do rytuałów ludzi pierwotnych, jednym z którym miał być rytuał inicjacji. Przechodzili przez niego wszyscy młodzieńcy, którzy osiągnęli pewien wiek. Chłopców zabierano do specjalnych, wydzielonych miejsc, prawie zawsze położonych w lesie (w rosyjskiej bajce znajdziemy nie las, a kamienny słup. W niemieckim wariantcie za to czytamy: „at the edge of the forest, he, too, encountered the fox”²⁰). Tam byli poddawani próbom, często okrutnym, gdyż uważano, że w ich wyniku człowiek powinien niejako umrzeć, a przeszedłszy próby, mógł odrodzić się na nowo. W bajkach co prawda nie ma motywu śmierci bohatera (przynajmniej w tym momencie, Iwan, jak wiadomo, później umrze), ale bohaterowie są poddawani próbom. Najmłodszy z braci musi wybrać drogę, lis sprawdza syna ogrodnika. Być może rozdarcie konia carewicza przez wilka może uznać za swego rodzaju śmierć czy też ofiarę. W ścisłym związku z tym obrzędem pozostaje otrzymanie magicznego daru albo pomocnika. Rytuał poświęcenia przewidywał uzyskanie ducha-strażnika, związanego z totemem plemienia²¹.

Zadania, przed którymi staje najmłodszy brat są takie same prócz ostatniego. Dla Iwana wyzwania kończą się na zdobyciu Pięknej Heleny²². Iwan carewicz zostaje złapany i staje przed obliczem carów dwukrotnie. Nie ma trzeciego zadania i trzeciego cara, bo ostatniego zadania podjął się wilk. Za to syn ogrodnika nie zdobywa pięknej księżniczki bez problemów. Lis radził mu, aby pocałował ją w usta (dzięki temu będzie mógł ją ze sobą zabrać) oraz nie pozwolił księżniczce pożegnać się z rodzicami królowny. Najmłodszy brat ulega jednak prośbom królowny i pozwala jej pożegnać się z rodzicami, przez co zostaje złapany. Król obiecuje bohaterowi, że będzie miał jego córkę, jeśli usunie górę, która leży przed oknem króla i blokuje mu widok. W tej bajce spotykamy więc trzech królów i trzy zadania.

„Opowieść nie jest piękna, jeśli nic do niej nie dodano”²³ mówi toskańskie przysłowie. Tzw. *storyteller* mógłby dokładać kolejne zadania, a najmłodszy syn

20 J. Zipes, *The Original Folk...*, s. 187.

21 A. C. Штемберг, *Герои русских народных сказок: кто они и почему ведут себя так, а не иначе?*, „Пространство и время” 2011 nr 4 (6), s. 221.

22 Tłumaczenie imienia Елена Прекрасная oraz innych nazw własnych – zob. *Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa*, red. R. Łuźny, Kraków 2001, s. 176.

23 Przysłowie cytowane przez Itala Calvina we wstępie do *Italian Folktales*, Londyn 1982.

mógłby zdobywać kolejne magiczne przedmioty czy istoty o nadprzyrodzonych zdolnościach. Prawdopodobnie jednak ze względu na siłę bajkowej liczby 3, bajka kończy się na zdobyciu złotego ptaka, złotogrzywego konia i królowny. Interesujące, że ostatnie zadania musi być inne, żeby „cykl” mógł się zakończyć. To wilk wykrada Piękną Helenę, bo wcześniejsze wyzwania, których podejmował się Iwan, kończyły się niepowodzeniem. Syn ogrodnika usuwa górę i na tym kończy się cykl jego zadań, bo góra nie należy do nikogo.

Po wykonaniu wszystkich zadań bohater wraca do domu. Iwan wraca do miejsca, w którym szary wilk zabił jego konia, a historia zdaje się zataczać koło. Bohater znajduje się w punkcie wyjścia, znów ma konia, ale teraz są z nim jeszcze ptak i Helena. Wilk opuszcza carewicza. Kiedy syn ogrodnika i lis mają się żegnać, lis prosi bohatera, żeby ten odciął mu głowę i łapy. Młody człowiek odmawia. Lis daje mu przed rozstaniem dwie rady: nie wolno mu kupować mięsa z szubienicy, ani siadać na brzegu studni. Wersja braci Grimm jest o tyle ciekawa, że rady lisa są przewrotne: nie można ich interpretować dosłownie, jeden zakaz łączy się z drugim. Okazuje się bowiem, że martwe mięso to bracia bohatera, którzy zostali skazani na powieszenie. Bohater wykupuje braci, a gdy później siada na brzegu studni, ci go do niej pychają.

Tutaj bajka dochodzi do momentu, gdy bracia próbują pozbyć się młodszego brata. W zachodnioeuropejskich wariantach, najmłodszy brat jest wpychany do studni, legowiska lwów (*The Bird Grip*) czy jeziora (*The Golden Blackbird*). We wrzuceniu brata do studni Margaret Hunt, tłumacz bajek braci Grimm doszukuje się powiązań z biblijną historią o Józefie i jego braciach: „The fall into the well (instead of which a quarry sometimes occurs), is remarkably allied to the saga of Joseph”²⁴. Hunt podkreśla („remarkably”), że powiązanie obu historii jest niezwykle. Propp zwraca jednak uwagę, że: [...] nie sposób uznać opowieści o Samsonie i Dalili za prototyp bajki: zarówno bajka wywodząca się z tekstu biblijnego, jak i sam ten tekst, mogą mieć inne, wspólne źródło²⁵. Analogicznie, bajka o złotym ptaku może, ale nie musi mieć swojego prototypu w opowieści o Józefie.

U Afanasiewa zresztą motyw wepchnięcia do studni w ogóle nie występuje. Iwan spotyka braci, którzy podczas swoich poszukiwań nic nie znaleźli i ci, z zazdrości, zabijają go z wyjątkowym okrucieństwem: „Дмитрий-царевич вынул из ножен меч свой, заколол Ивана-царевича и изрубил его на мелкие части”²⁶. Przedstawiciele szkoły historycznej mogliby dopatrywać się tu inspiracji najbardziej znanym bratobójstwem na Rusi: zabiciem Borysa i Gleba z polecenia Światopełka I Przekłętego.

Syna ogrodnika ratuje lis, podając mu swój ogon. Bohater w przebraniu wraca do ojca, demaskuje złych braci, ci zostają skazani na śmierć, a bohater żeni się z królowną.

24 W. K., J. L. Grimm, *Household tales*, tłum. Margaret Hunt, <http://www.surlalunefairytales.com/authors/grimms/57goldenbird.html> [dostęp 30.04.2018].

25 W. Propp, *Nie tylko bajka*, s. 147.

26 А. Афанасьев, *Русские народные сказки*.

Iwanowi przychodzi na pomoc szary wilk. W tym miejscu ponownie uderza bezpośredniość tej bajki. „В то самое время увидел серый волк одного ворона и двух воронят, которые летали над трупом и хотели спуститься на землю и наестся мяса Ивана-царевича”²⁷.

Wilki łapie dziecko kruka i każe mu przynieść żywą i martwą wodę. Po polaniu magiczną wodą ciało Iwana zrasta się, a bohater ożywa. Powraca do domu i żeni się z Heleną. Najciekawszy w tej części bajki jest na pewno motyw żywej i martwej wody. Zdaje się on być jednak charakterystyczny tylko dla wariantu rosyjskiego,

Propp wymienia trzydzieści jeden funkcji, występujących w bajkach. Ostatnią z nich jest ślub (funkcja XXI – bohater zawiera małżeństwo i zostaje królem²⁸). U braci Grimm na tym się jednak nie kończy. Wiele lat później bohater znowu spotyka lisa i tym razem zgadza się spełnić prośbę zwierzęcia. Po odcięciu głowy i łap z lisa zostaje zdjęty urok i ten przemienia się w brata królowej. Afanasjew zauważa, że

[...] русские лубочные варианты „Жар-птицы и серого волка” [...] отличаются некоторыми характерными особенностями, связанными с национальной фольклорной традицией, в них отсутствуют такие часто встречающиеся в западноевропейских сказках мотивы, как, например, превращение волка-помощника в человека.

Badacz nie wyjaśnia jednak, jak narodowa tradycja folkloru miałyby wpłynąć na nieobecność motywu przeobrażenia magicznego pomocnika w człowieka. A przecież wątek przemiany człowieka w zwierzę i na odwrót występuje w rosyjskiej tradycji bajkowej (np. w bajce *Сестрица Алёнушка и братец Иванушка*).

Lis – wilk

Uwagę odbiorcy bajki zwraca fakt, że u Afanasjewa magiczny pomocnik to wilk, a u braci Grimm lis. W szwedzkim wariantcie również spotkamy lisa, za to we Francji bohaterowi pomaga zając. Jasne więc, że wybór danego zwierzęcia nie może być przypadkowy i związany jest z tradycją, kulturą, wierzeniami i wiedzą danego narodu. Można zastanawiać się więc: dlaczego akurat wilk, a nie lis jest pomocnikiem Iwana Carewicza? Zagadnienie to jest jeszcze bardziej intrygujące, gdy przyjrzymy się bajkom zwierzęcym. W bajce *Лисичка-сестричка и волк* to lis jest sprytny i zaradny, a wilk głupi i naiwny. Jak więc to możliwe, że to właśnie wilk jest sprytnym i pomysłowym pomocnikiem Iwana?

Być może jest to związane z popularnością wilka w świadomości ludów słowiańskich. Wiedzę ludową do dziś przechowuje język rosyjski, można zatem zbadać pod tym kątem frazeologizmy czy przysłowia. Wystarczy przeanalizować zbiór rosyjskich przysłów i frazeologizmów by zauważyć ogromną przewagę częstotliwości występowania w nich postaci wilka nad lisem. W *Słowniku przysłów i powiedzeń*²⁹ Ryszarda Stypuły w końcowym indeksie znajdziemy osiemdziesiąt trzy

27 Tamże.

28 W. Propp, *Morfologia bajki magicznej*, s. 61.

29 R. Stypuła, *Słownik przysłów i powiedzeń rosyjsko-polski polsko-rosyjski*, Warszawa 2003.

odesłania do przysłów ze słowem „волк”, jak również cztery odesłania związane ze słowem „волчий”, podczas gdy odesłań do przysłów czy powiedzeń ze słowami „лиса” oraz „лисий” odnajdziemy kolejno zaledwie osiem i dwa. W przypadku frazeologizmów ta dysproporcja również jest widoczna. W historyczno-etymologicznym słowniku rosyjskiej frazeologii³⁰ znajduje się piętnaście frazeologizmów związanych ze słowem „волк” oraz dwa związane ze słowem „лиса”.

Co więcej, wilk może być głupi w bajce zwierzęcej i sprytny w bajce magicznej na takiej samej zasadzie jak Iwan w jednej bajce jest carewiczem, a w drugiej „дураком”. Bajki nie prezentują bowiem charakterów, bohaterami bajek są typy, uogólnienia, więc ich imiona muszą być jak najbardziej ogólne i typowe. Uważam, że problem ten dobrze przedstawia Pullman:

Sądzę, że najlepszych podobizn bohaterów baśni ludowej nie należy szukać w żadnym z pięknie ilustrowanych wydań baśni braci Grimm, lecz są nimi niewielkie kartonowe figurki do zabawy w teatr. Płaskie, dwuwymiarowe. Publiczność widzi tylko jedną stronę, ale to wystarcza – druga strona jest pusta. Postacie sportretowano w dramatycznych pozach, aby ich dramat był łatwo czytelny z oddali³¹.

Oraz:

Rzadko mają imiona. Najczęściej znamy tylko ich zawód lub status społeczny [...] niekiedy posiadają przydomki związane z charakterystycznym elementem stroju [...] Kiedy otrzymują imię, zwykle brzmi ono Jan (Hans)³²; podobnie jak w baśniach angielskich bohaterem jest Jack³³.

Inne spojrzenie spojrzenie na postać wilka przedstawia Ю.Г. Хазанкович w swojej pracy w *Архетип „волка” в фольклоре и литературе*³⁴.

Тотемным животным и птицам поклонялись языческие народы до появления общемировых религий – христианства, ислама и буддизма. Именно тотемные животные выступали опорными точками этнического мировоззрения, а затем эти образы получили художественно-эстетическую трансформацию в национальной литературе. Животные-тотемы были наделены положительными человеческими чертами и несли в мифологии и фольклоре «сберегательную» функцию: тотем оказывал помощь человеку, находящемуся с ним в социально-родственных отношениях. У отдельных славянских племен Волк также выступал в качестве тотема. Этот могучий зверь, которого всегда боялись за свирепость, вызывал у человека своими охотничьими качествами восхищение. Волк достаточно часто встречается в фольклоре славян, тюркских и «арктических» народов. Так, образ волка был центральным в европейских легендах о волках-оборотнях. Еще Геродот и Плиний упоминали о «песьеголовцах» – таинственных людях с головами волков, а Волколаки или Люди-волки выступали действующими персонажами славянского эпоса. В сказках и преданиях славян есть упоминания о «плохих» оборотнях, которые убивали людей и похища-

30 *Русская фразеология. Историко-этимологический словарь*, red. В. К. Мокиенко, Москва 2005.

31 P. Pullman, *Baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży bez cenzury*, Poznań 2015, s. 12–13.

32 Pullman odnosi się tutaj do bajek niemieckich.

33 Tamże, s. 12.

34 Ю. Г. Хазанкович, *Архетип „волка” в фольклоре и литературе*, „Вестник ТГУ”, 2009, № 4 (72), s. 177–179.

ли скот, и оборотнях «хороших», бескорыстно помогающих людям. «Классическим» добрым животным оборотнем, наверное, следует считать волка в русской «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и сером волке», где животное выступает в качестве советчика и помощника сказочного героя: «Загрыз я твоего доброго коня, теперь послужу тебе верой и правдой». Образ волка у восточных славян встречается не только в сказках, но и в песнях и «малых» фольклорных жанрах, где образ волка имеет традиционную семантику – волк-злодей: «Придет Серенький Волчек и утащит во лесок»³⁵.

Postaci

W tym miejscu można gładko przejść do tematu postaci. Jakie imiona noszą? Kim są? To właśnie nazewnictwo postaci musiało być jednym z decydujących czynników, które sprawiły, że *Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке* jest uważana za rosyjską bajkę narodową.

Dlaczego Iwan ma na imię Iwan? O. H. Татарникова zauważa, że:

[...] имя Иван, широко бытующее в сказках, обозначает русского человека в целом с его национальными чертами характера, психологией русского человека, его особым мировосприятием. [...] В результате анализа сказочных текстов выявлено, что антропоним Иван встречается в 41 волшебной сказке из 101 (что составляет 40,5%), в новеллистических сказках имя собственное Иван присутствует в меньшем количестве (в 22 сказках из 113, что составляет 19,5%). [...] Таким образом, антропоним Иван является феноменом русской культуры, так как основательно закрепляется в реалиях окружающей действительности. Результатами проведенного нами исследования подтверждается следующее: несмотря на разные жанровые особенности волшебных и новеллистических сказок, имя собственное Иван выполняет одинаковые функции (номинативную, сословно-дифференциальную, стилистическую), используя одинаковые средства. Наблюдается стилистическая однородность в употреблении антропонима в разных сказках: наличие отчества возвышает героя, а сниженный вариант имени собственного употребляется в сниженных ситуациях. Можно утверждать, что антропоним Иван имеет единое лингвокультурологическое значение³⁶.

Bajkowy Iwan jest więc prototypem człowieka kręgu kulturowego, w którym kształtowała się ta bajka. Imię to występuje niemal w połowie bajek magicznych. Bez względu na kontekst, w jakim się pojawia, imię to pełni funkcję nominatywną (w bajce występuje zawsze tylko jeden Iwan), rozróżniającą (bohater wyróżnia się pochodzeniem, np. Iwan Carewicz) oraz stylistyczną.

W bajce o złotym ptaku każda postać ma swoje imię. Ojciec Iwana to Выслав Андронович, bracia Дмитрий i Василий (bardzo rzadko Iwan Carewicz występuje pod imieniem Dymitra lub Wasyla³⁷, możliwe więc, że wybór imion dla braci głównego bohatera był naturalny). Carównę nazywna się Piękną Heleną (Елена Прекрасная). Wnikliwy czytelnik może się zastanawiać, czy zbieżność imion baj-

35 Tamże, s. 179.

36 O. H. Татарникова, *Антропоним Иван как объект лингвокультурологического анализа волшебных и новеллистических сказок*, „Мир русского слова” 2015, nr 4, s. 38–42.

37 А. С. Штемберг, *Герои русских народных сказок: кто они и почему ведут себя так, а не иначе?*, „Пространство и время” 2011, nr 4 (6), s. 2.

kowej postaci i Heleny Trojańskiej (po rosyjsku to właśnie Елена Прекрасная) jest przypadkowa. Za to władcy carstw, do których podróżuje Iwan, noszą dość egzotyczne imiona: Долмат oraz Афрон. Nie jest to oczywiście bezcelowe, niezwykłe imiona podkreślają inność tych carstw, są to miejsca odległe. Wilk nie ma imienia, ale ma swój epitet (серый волк). Interesujące, że kruk, który zdobył dla szarego wilka żywą i martwą wodę nie jest po prostu krukiem. Bajka nazywa go ворон воронович.

W niemieckim wariantcie natomiast wszystkie postaci są bezimienne, anonimowe. Żadnego z bohaterów nie poznajemy z imienia, znamy tylko ich statusy, zawody: ogrodnik, król, syn, królowa, brat. Nie wiedząc nic o autorze tej wersji bajki odbiorca nie byłby w stanie powiedzieć, czy jest to bajka niemiecka, polska, francuska czy jakkolwiek inna. *Сказка об Иване-царевиче...* jest rosyjską bajką narodową, bo wystarczy przeczytać pierwsze zdanie, by domyślić się, z jakim kręgiem kulturowym mamy do czynienia.

Kim są bajkowi bohaterzy? Bajka zaczyna się od zawiązania, gdzie przedstawia się bohaterów i określa relacje ich łączące (najczęściej są to relacje rodzinne). Co istotne:

Nie chodzi przy tym o realistyczny opis rodziny. W sytuacji wyjściowej zazwyczaj pojawiają się postaci dwóch pokoleń – starszego i młodszego³⁸. To przyszli aktywni uczestnicy opowieści. Bajka nigdy nie wprowadza ani jednej zbędnej postaci – każda ma w niej do odegrania swoją rolę. Zwykle reprezentanci starszej generacji mobilizują bohatera do opuszczenia domu, młodszej – dom opuszczają. Jedno i drugie przebiega w rozmaitych formach i z różną motywacją. Status społeczny postaci nie odgrywa istotnej roli. Bohaterem może być zarówno syn królewski, jak chłopski, choć, oczywiście, pojawiają się pewne sytuacyjne różnice w podejściu do nich³⁹.

Co do głównego bohatera natomiast, to „Jego wygląd zewnętrzny nigdy nie jest opisywany, ale słuchacz i tak wyobraża sobie, że jest piękny. [...] Jeśli w bajce występuje trzech braci, to bohaterem zawsze jest najmłodszy⁴⁰”. Z upływem czasu bajki uległy zmianie. Bohaterzy byli idealizowani, tak jak ich postępowanie, aby mogli być wzorem dla dzieci. Jednak kiedy bajki powstawały, nie powstawały w celach dydaktycznych i nie były skierowane do dzieci. Dlatego możliwe jest, żeby główny bohater, czy to Iwan, czy syn ogrodnika, był złodziejem. Jak wyjaśnia Propp:

Problem oszustwa w bajce należy do najbardziej skomplikowanych w bajkowej poetyce. Chytrność to broń słabego przeciwko silnemu. Dlatego w bajce nie jest potępiana, lecz nawet heroizowana. [...] Z naszego punktu widzenia moralność bohatera pozostawia wiele do życzenia, ale odzwierciedla ona normy innej epoki, kiedy w ciężkiej walce z przyrodą i przemocą słaby człowiek nie mógł zwyciężyć inaczej niż sprytem⁴¹.

38 Ogródnik – synowie ogrodnika, car – synowie cara.

39 W. Propp, *Nie tylko bajka*, s. 93–94.

40 Tamże, s. 106, 107.

41 Tamże, s. 110, 111.

Wszystko jest zatem wyjaśnione, bohater jest „usprawiedliwiony”. Nie zmienia to jednak faktu, że właściwie wszystko za bohatera robi magiczny pomocnik. O ile u braci Grimm syn ogrodnika sam wykrada złotego konia i ptaka przy użyciu swojej zręczności, to Iwan wszystko pozostawia w rękach (łapach) szarego wilka. Bohater jest bierny, wręcz przeszkadza pomocnikowi, nie słuchając jego rad, łamiąc zakazy. Nie mniej jednak, to Iwan/syn ogrodnika jest głównym bohaterem bajki. Co więcej: „To, że wszystko dokonuje się za pomocą magicznych środków, w niczym nie umniejsza jego heroizmu. W odróżnieniu od heroizmu poezji epickiej mamy tu bowiem do czynienia ze szczególnym heroizmem bajkowym”⁴².

Z kolei zdaniem Sztemberga, magiczny pomocnik nie jest samodzielną postacią, a po prostu spersonifikowanymi magicznymi zdolnościami bohatera. Bohater i pomocnik to jedna i ta sama osoba. Heroizm postaci zawiera się w jego czarodziejskiej mocy i sile⁴³.

Wracając do rodzinnych relacji bohaterów, można zastanawiać się, dlaczego to zawsze najmłodszy syn jest bohaterem bajki. Okazuje się, iż:

[...] в родовом первобытном обществе именно младший сын был хранителем и наследником семейной собственности, порядков и традиций, потому что он дольше всех оставался в семье. Старшие братья, как правило, уходили в семью брата матери. Со временем, с распадом первобытнообщинных отношений и возникновением отцовского (патриархального) права и большой патриархальной семьи, ситуация изменилась. На выделение старших братьев стали смотреть как на дробление и ослабление семьи, разрушение общего дела и разбазаривание семейной собственности. Поэтому право наследования было пересмотрено в пользу старших сыновей. Так младший сын оказался обиженным и обездоленным – ведь не зря многие сказки о трех братьях начинаются со смерти отца и раздела имущества, при котором младшему не достается почти или вовсе ничего. Естественно, что в сказках, сохраняющих наиболее древние представления, все симпатии на его стороне – он выступает как хранитель и защитник исконных родовых начал, в то время как его братья – их разрушители⁴⁴.

Wszystko się zgadza. W bajce o złotym ptaku odnajdziemy najstarsze przedstawienie sytuacji rodzinnej. Car Wysław Andronowicz obiecuje, że ten, kto zdobędzie ognistego ptaka dostanie pół carstwa, po czym wysłał na początek najstarszego syna na poszukiwania. Gdyby bajka opierała się na nowym obrazie rodziny, car wysłałby raczej na początku najmłodszego syna, potem średniego, a dopiero na końcu najstarszego. W bajce nie spotkamy za to sytuacji, w której najmłodszy syn byłby gorszy czy pominięty w spadku po ojcu. Na korzyść tezy, że w bajce o złotym ptaku przedstawiono ten starszy obraz rodziny świadczy niechęć, z jaką ojciec zgadza się na wyprawę syna. O ile bajka rosyjska nie do końca wskazuje, że najmłodszy syn był najważniejszy („ежели во время отлучки вашей господь бог отымет мою жизнь, то кто вместо меня будет управлять моим государством?”⁴⁵), bo

42 Tamże, s. 117.

43 A. C. Штемберг, *Герои русских народных сказок...*, s. 222.

44 Tamże, s. 219.

45 A. Афанасьев, *Русские народные сказки*.

ojciec mógł nie chcieć wyprawiać go na poszukiwania po prostu dlatego, że nie byłoby komu zarządzać królestwem, to u braci Grimm sytuacja jest mniej dyskusyjna. Najmłodszy syn jest ulubionym dzieckiem swojego ojca: „the youngest son also wanted to to set out into the world, but his father refused him to go. The king was most fond of him and was afraid that he would have a mishap and wouldn't return”⁴⁶.

Postaci kobiece w bajkach są przeważnie bierne, mają jedynie ładnie wyglądać i zostać żonami bohatera. Chociaż Piękna Helena raczej wpisuje się w ten schemat, to jest w bajce jeden fragment, który wyłamuje się ze schematu. Gdy bohaterka budzi się i widzi porąbane ciało ukochanego, lamentuje: „Я королева Елена Прекрасная, а достал меня Иван-царевич, которого вы злой смерти предали. Вы тогда б были добрые рыцари, если б выехали с ним в чистое поле да живого победили, а то убили сонного и тем какую себе похвалу получите? Сонный человек – что мертвый”⁴⁷!

Królowna potępia zachowanie braci, zarzuca im, że nie mają honoru, nie są dobrymi rycerzami. W niemieckim wariacie bracia po prostu spychają Iwana do studni, zabierają jego zdobycze oraz królowną i odjeżdżają. Nie ma tu żadnej refleksji czy potępienie występku braci.

Czas i przestrzeń

Formuła wstępna „в некотором царстве, в некотором государстве” jest specyficzna dla bajki rosyjskiej. W bajkach innych narodów odpowiada im nieokreśloność czasowa (np. ang. *once upon a time*). Takie sformułowanie w bajce rosyjskiej pojawia się rzadko i ma ono wówczas odcień książkowy i zapowiada raczej legendę. Natomiast rozpoczęcie w „некотором царстве...” sygnalizuje bajkę magiczną. Podkreśla ono, że akcja rozgrywa się poza czasem i przestrzenią⁴⁸. Również w środku bajki znajdziemy formuły wskazujące na nieokreśloność czasu: „скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.” Propp zwraca uwagę, że sformułowanie to jest interesujące, gdyż niejako podkreśla nierealność czasu, w którym dokonują się zdarzenia. „Czas ten nie może być i nigdy nie jest liczony w rzeczywistych terminach dni, tygodni, lat”⁴⁹. Inne określenia wskazujące na nierzeczywistość czasu to na przykład opis podróży Iwana na szarym wilku: „так скоро аки стрела, и бежал он долко ли, коротко ли” albo wręcz „и бежал он, как бы в сказке сказать, недолгое время”. Z drugiej strony, wbrew temu, co twierdził Propp, u Afanasjewa występują dokładnie miary czasu. Zwłoki Iwana leżą tam, gdzie został zabity przez „ровно тридцать дней”, kruk wraca z żywą i martwą wodą po trzech dniach.

W bajce niemieckiej czas jest nieco bardziej konkretny. Nie występują formuły podobne do tych rosyjskich, znajdziemy za to takie określenia czasu jak *after*

46 J. Zipes, *The Original Folk...*, s. 187.

47 А. Афанасьев, *Русские народные сказки*.

48 W. Propp, *Nie tylko bajka*, s. 93.

49 W. Propp, *Nie tylko bajka*, s. 100.

some time had passed, some more months passed by, the next morning, shortly after, you have one week to perform this task, many years later. Czas jest więc tutaj bardziej realny, ale i tym samym mniej fantastyczny, niektórzy mogliby stwierdzić: mniej bajkowy.

Interesująca jest również przestrzeń, w której rozgrywają się wydarzenia. W bajce o złotym ptaku bohaterem przemieszcza się ze swojego świata w świat inny, tzw. „мир иной”. W opowieści jest królestwo, w którym żyje bohater i inne, do których się przeprawia. W bajce rosyjskiej odległości są nierzeczywiste, Iwanowi przychodzi wędrować „за тридевять земель, в тридесятое государство”. Z drugiej strony, pojawiają się dokładnie jednostki odległości: „три версты”, „двадцать верст”. Carstwa w bajce nie mogą być chyba całkowicie odseparowane i niezależne. Gdy Iwan zostaje pojmany i trafia przed oblicze cara, ten pyta go, z jakiego jest państwa, kto jest jego ojcem, by potem zagrozić, że rozgłosi we wszystkich carstwach, że bohater jest złodziejem. W ogóle bajka rosyjska zdaje się dość mocno podkreślać sytuację polityczną carstwa Iwana. Wysław Andronowicz nie chce, by Iwan wyprawił się na poszukiwania ognistego ptaka, mówiąc: „кто вместо меня будет управлять государством? Тогда может сделаться бунт или несогласие между нашим народом, а унять будет некому; или неприятель под наши области подступит, а управлять войсками нашими будет некому”.

Jak już wcześniej wspomniałam, w bajce rosyjskiej las się nie pojawia. Znajdziemy tam za to tak popularne bajkowe miejsca jak „чисто поле” czy „зелёный дуб”.

W *The Golden Bird* las za to występuje. To tam ma miejsce obrzęd wtajemniczenia (obrzęd wtajemniczenia odbywał się zawsze właśnie w lesie⁵⁰). Oprócz tego droga do innego świata prowadzi przez las⁵¹.

Jakie są inne królestwa? Propp stwierdza, że wszystko, czemu nadano złotą barwę, zdradza tym samym przynależność do innego królestwa⁵². Co więcej:

[...] złota barwa to synonim ognistości. Z tym samym mamy do czynienia w wypadku pióra Ptaka Ognistego. Wiedząc, że królestwo za siedmioma górami, za siedmioma lasami jest jednocześnie bardzo często królestwem uranicznym, solarnym, łatwo wywnioskować, iż złota barwa przedmiotów jest wyrazem ich słoneczności⁵³.

Rzeczywiście, w obu bajkach odnajdziemy wiele złotych elementów, które przynależą obcym carstwom. Są to u Afanasjewa: „жар-птица” („на ней перья золотые”), „золотая клетка”, „конь златогривый”, „золотая узда”. U braci Grimm natomiast będą to „the golden bird”, „golden cage”, „golden horse”, „golden saddle”, „golden castle”. Może jednak zastanawiać fakt: skoro kolor złoty zarezerwowany jest dla odległych krain, to dlaczego jabłko w ogrodzie króla, ojca bohatera też są złote?

50 W. Propp, *Historyczne korzenie bajki magicznej*, Warszawa 2003, s. 54.

51 Tamże, s. 55.

52 W. Propp, *Historyczne korzenie...*, s. 317.

53 Tamże, s. 318.

Podsumowanie

Jak widać, między niemieckim a rosyjskim wariantem bajki o poszukiwaniu złotego ptaka uważny czytelnik odnajdzie wiele różnic. Wynikają one często z wpływu kręgów kulturowych, w jakich się one kształtowały. Wersja, którą znajdziemy u Afanasiewa jest pod niektórymi względami bardziej fantastyczna (np. czas) niż wersja braci Grimm, wyróżnia ją również formułczość i rytmiczność języka. W *The Golden Bird* znajdziemy natomiast motyw, którego, zdaniem Afanasiewa, bajka rosyjska nie mogłaby zaakceptować. Te i inne, zdawałoby się, drobnostki, sprawiają, że odnajdywanie różnic i próby ich wyjaśnienia są tak zajmujące.

Bibliografia:

- Lang A., *The Green Fairy Book*, New York and Bombay, 1906.
 Lang A., *The Pink Fairy Book*, New York, London and Bombay, 1897.
 Ługowska J., *Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury*, Wrocław 1981.
 Propp W., *Historyczne korzenie bajki magicznej*, Warszawa 2003.
 Propp W., *Morfologia bajki magicznej*, Kraków 2011.
 Propp, W., *Nie tylko bajka*, Warszawa 2000.
 Pullman P., *Baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży bez cenzury*, Poznań 2015.
 Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasiewa, red. R. Łuźny, Kraków 2000.
 Stypuła R., *Słownik przysłów i powiedzeń rosyjsko-polski polsko-rosyjski*, Warszawa 2003.
 Zipes J., *The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm*, Princeton 2014.
 Лихачев Д. С., *Об изучении древней русской литературы в Академии наук за 250 лет ее существования (несколько общих наблюдений)*, „Русская литература”, nr 2, 1974, s. 3–13.
Русская фразеология. Историко-этимологический словарь, red. В. К. Мокиенко, Москва 2005.
 Татарникова О. Н., *Антропоним Иван как объект лингвокультурологического анализа волшебных и новеллистических сказок*, „Мир русского слова” 2015, nr 4, s. 38–42.
 Хазанкович Ю.Г., *Архетип „волка” в фольклоре и литературе*, „Вестник ТГУ”, 2009, nr 4 (72), s. 177–183.
 Штемберг А. С., *Герои русских народных сказок: кто они и почему ведут себя так, а не иначе?*, „Пространство и время” 2011 nr 4 (6), s. 218–229.

Źródła internetowe:

- Grimm W. K., J. L., *Household tales*, tłum. Margaret Hunt <http://www.surlalunefairytales.com/authors/grimms/57goldenbird.html>, [dostęp 30.04.2018].
 Portal Goodreads, https://www.goodreads.com/book/show/21981650-the-original-folk-and-fairy-tales-of-the-brothers-grimm?from_search=true, [dostęp 30.04.2018].
 Афанасьев А., *Русские народные сказки*, [https://ru.m.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_\(Афанасьев\)/Сказка_об_Иване-царевиче,_жар-птице_и_о_сером_волке](https://ru.m.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Сказка_об_Иване-царевиче,_жар-птице_и_о_сером_волке), [dostęp 30.04.2018].
Большой толковый словарь русского языка, red. Кузнецов С. А., <http://gramota.ru/slovari/dic/?-game=x&all=x&word=%E3%EE%E9>, [dostęp 30.04.2018].

Joanna Majewska

doktorantka Wydziału Filologicznego UJ

KWESTIA AUTORYTETU W POWIEŚCI SERHIJA ŻADANA «INTERNAT». KONTEKST KLASYCZNEJ RELACJI MISTRZ – UCZEŃ

Uczeń i mistrz – relacja autorytetu

„Always two there are no more no less a master and an apprentice” konstatuje mistrz Yoda – jedi, postać z zajmujących istotne miejsce we współczesnej popkulturze filmów z serii Gwiezdnych Wojen¹. Cytat ten, pochodzący prosto z kina *science fiction*, opowiadającego historię odległych galaktyk dowodzi głębokiego zakorzenienia się, a zarazem ogromnej uniwersalności relacji uczeń – mistrz, która na przestrzeni wieków znajdowała różne formy i realizacje. Para mistrz i uczeń – zależność oparta na autorytecie i zaufaniu jest jednym z niezwykle popularnych motywów powtarzających się w literaturze i sztuce, ale także w historii od zarania dziejów. Opowieści o posłuszeństwie, inspiracji, czasami o buncie i sprzeciwie na stałe wrosły w kulturę, konstruując w świadomości zbiorowej archetypowe wyobrażenie tego układu. Europejska cywilizacja wyrastając zarówno z tradycji antycznych jak i judeo-chrześcijańskich dostarcza nam zarówno wzorców mitologicznych, religijnych jak i historycznych, które będąc osadzonym w europejskiej kulturze, nie trudno jest wskazać. Mam tu na myśli przykłady takie jak Sokrates i Platon, Arystoteles i Aleksander Wielki, czy wreszcie Jezus i Apostołowie – zestawienia klasyczne i można byłoby wręcz powiedzieć, że oklepane. Do dziś reprezentowane przez nich postawy poddawane są analizie, teorie kształtowania osobowości brane pod uwagę w badaniach²,

1 Cytat pochodzi z filmu *Gwiezdne Wojny. Atak klonów* w reżyserii George’a Lucasa i stał się inspiracją dla rozlicznych internetowych memów.

2 Por. A. Pukowska, *Tożsamość – myślenie – język. Sprawozdanie i postulat interdyscyplinarności*, [w:] *Tożsamość w literaturze i sztuce czasów nowoczesnych i epoce postmodernizmu. Ujęcie transdyscyplinarne*, pod red. R. Solewskiego, (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Arte et Educatione VII, f. 124), Kraków 2012, s. 75.

a modele relacji zestawiane ze współczesnymi kategoriami nauczania³. Ponadto stanowią także częstą inspirację i punkt odniesienia dla tych, którzy współcześnie zajmują się istotą relacji uczeń – mistrz⁴. Oczywiście przedłożoną wcześniej listę przykładów można byłoby wzbogacić o innych jeszcze proroków, filozofów i uczonych, którzy zapisali się w dziejach Europy, dla nas jednak istotniejsze będzie pytanie o istotę wzorca takiej relacji. Na początek warto odwołać się do definicji: jak podaje słownik PWN „mistrz” to osoba uznana za wzór i godna naśladowania ze względu na posiadanie, znacznie lepszych niż inni, umiejętności w danej dziedzinie; „mistrz” to także dyplomowany rzemieślnik albo wykwalifikowana osoba nadzorująca pracę podległych sobie osób⁵. Słowo „uczeń” również zostało opatrzone kilkoma znaczeniami, odwołując się zarówno do najbardziej współczesnego skojarzenia z uczniami w szkole, jak i do osób terminujących w celu uzyskania zawodu oraz – co w naszym kontekście istotne – jako oznaczenie zwolenników lub też kontynuatorów czyichś myśli, idei lub twórczości⁶. Jak widać, słownikowa definicja nie ogranicza mistrzostwa i uczniostwa do konkretnych płaszczyzn życia. Co widzieliśmy również na podstawie wymienionych wcześniej przykładów. Relacja mistrzowska może odnosić się zarówno do sfery duchowej, naukowej, życiowej, jak i po prostu fachowej⁷. Uczeń pod okiem mistrza będzie więc kształtował swoje nawyki, umiejętności, poglądy, a wreszcie, w oparciu o te doświadczenia, konstruował swoją tożsamość. Mistrzem nie musi być wielki uczonec lub filozof, może nim zostać dowolna osoba, a najważniejszą rolę będzie odgrywało tutaj zaufanie (w sprawach wiedzy, umiejętności, czy moralności), którym uczeń obdarzy swój autorytet. Co istotne zaufanie to powinno być wzajemne⁸, ponieważ nie tylko podopieczny musi zawierzyć nauczycielowi, ale też on sam musi wierzyć w pojętność ucznia⁹. Różnica doświadczenia jest w tej relacji koniecznym warunkiem do spełnienia, co bardzo często (choć nie zawsze) pociąga za sobą różnicę wieku – przeważnie uczeń jest młodszy od nauczyciela. Wielopłaszczyznowość tego układu przewiduje zazwyczaj nie tylko doskonalenie się w danej dziedzinie pod czujnym okiem nauczyciela, ale także obserwację całościowej postawy, zachowań i poglądów mistrza, które stają się inspiracją, przykładem, ale też czasem wyzwaniem dla ucznia – ponieważ co istotne: nauczyciel nie powinien być ślepo i bezrefleksyjnie naśladowany. Uczeń

3 Zob. W. Szytk, *Jezus Chrystus jako wychowawca i nauczyciel grona Dwunastu Apostołów*, [w:] *Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej. Autorytet mistrza*, pod red. A. S. Jasińskiego i W. J. Szytki (= Szkoła Seraficka, t. 2), Katowice Panewniki 2008, s. 127–143.

4 Por. K. Olbrycht, *Współczesne pytania wokół relacji »mistrz – uczeń«*, <http://gazeta.us.edu.pl/node/194851>, [dostęp: 01.05.19]

5 Hasło słownikowe: *mistrz*, <https://sjp.pwn.pl/szukaj/mistrz.html>, [dostęp: 01.05.19].

6 Hasło słownikowe: *uczeń*, <https://sjp.pwn.pl/szukaj/ucze%C5%84.html>, [dostęp: 01.05.19].

7 Zob. M. Scheler, *Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy*, Warszawa 1987, s. 356.

8 Zob. J. Bukowski, *Zarys filozofii spotkania*. Kraków 1987, s. 257.

9 Zob. L. Wiśniewska, A. Mazur, B. Mazan, J. Lawski, M. Saganiak, B. Bobrowska, I. Wiśniewska, M. Rudkowska, *Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń*, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. 3 (XLV) 2010, s. 114–137.

w trakcie „nauki” powinien kształtować własną tożsamość i postawę, podczas gdy mistrzowi przypada tutaj przede wszystkim funkcja przewodnika¹⁰.

Zarysowany w ten sposób ogólny profil relacji mistrza i ucznia pozwoli nam znaleźć punkt wyjścia dla rozważań nad relacją przedstawioną w najnowszej powieści Serhija Żadana – *Internat*. Książka ta została wydana w 2017 roku na Ukrainie i ze względu zarówno na tematykę, jak i postać samego pisarza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem¹¹. Tłem, a zarazem przyczyną opisanych w powieści wydarzeń jest trwający wciąż na ukraińskim Donbasie konflikt zbrojny z Rosją. Głównym bohaterem jest młody nauczyciel języka ukraińskiego – Pasza, który wyrusza do pobliskiego miasta, aby odebrać z internatu swojego nastoletniego siostrzeńca – Saszę. Razem odbywają długą i trudną drogę do domu. To właśnie ich relacja interesuje mnie pod kątem zagadnienia autorytetu oraz układu mistrz – uczeń. Pytania, które chciałabym postawić dotyczą zarówno rzeczywistości przedstawionej w utworze, jak i dalszego – hipotetycznego – post-powieściowego biegu wydarzeń. Jak układają się relacje tych dwóch bohaterów? Czy stosunki Paszy i Saszy mają potencjał, szansę, przekształcenia się w układ mistrz – uczeń? Czy Pasza może być lub stać się autorytetem? W końcu poznajemy bohaterów w szczególnej, anormalnej, sytuacji zagrożenia wynikającego z działań wojennych i przebytą przez nich wspólną drogę możemy potraktować jako potencjalną sytuację „spotkania” – pozwalającą na powstanie więzi autorytetu¹². Dlaczego w ogóle warto poświęcić uwagę tym pytaniom, formułować je w ten sposób? Stworzone przez Żadana postacie są reprezentantami dwóch kluczowych dla współczesnej Ukrainy pokoleń – starszego, które urodziło się jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, a jego wejście w dorosłe życie przypadło na niełatwe początki państwa ukraińskiego; oraz młodszego, które urodziło się już na wolnej Ukrainie i jest obecnie świadkiem rosyjskiej agresji. Pasza i Sasza, posiadając dość typowe dla swoich rówieśników cechy i problemy, mogą zostać potraktowani jako metafora współistnienia i wzajemnych zależności tych dwóch pokoleń. Jeżeli przyjąć te założenia, pytanie o ich relacje stanie się pytaniem o autorytet całego pokolenia. Pamiętając o kontekście aktualnych wydarzeń na Ukrainie: wojnie i procesie budowania się społeczeństwa obywatelskiego¹³, zagadnienie to wydaje się tym bardziej interesujące.

Charyzma

Analizując relację Paszy i Saszy będę się starała uwzględniać cechy ich osobowości, sposoby zachowania w krytycznych i niezwykłych sytuacjach, a także ewentualne

10 Zob. Scheler M., *Pisma z antropologii...* s. 358.

11 Za widowiskowy przykład niech posłuży chociażby premiera książki na lwowskim Forum Wydawców, która wypełniła po brzegi Lwowską Operę: *Сергій Жадан зібрав Оперний театр у Львові*, <http://www.meridiancz.com/blog/serhij-zhadan-zibrav-opernyj-teatr-u-lvovi/>, [dostęp: 01.05.19].

12 L. Wiśniewska, A. Mazur, B. Mazan....

13 *Narodziny społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Wywiad z Serhijem Żadanem*, <https://amnesty.org.pl/narodziny-spoleczenstwa-obywatelskiego-na-ukrainie-wywiad-z-serhijem-zadanem/>, [dostęp: 01.05.19].

zmiany, które zachodzą w nich w trakcie wspólnie odbywanej drogi z internatu do domu. Pierwszą kwestią, którą warto będzie poruszyć jest charyzma – cecha niezwykle ceniona u mistrzów, a wręcz nieodzowna dla pojawienia się fascynacji, która przerodzić się może w poczucie autorytetu. Jak pisze Zygmunt Bauman w *Socjologii*, o charyzmie możemy mówić kiedy motywacją do posłuchu dawane go danej osobie jest przekonanie, że głoszący jest obdarzony wręcz ponad ludzkimi możliwościami, takimi jak niezwykła mądrość, czy zdolność przewidywania, których przeciętny rozum nie jest w stanie poddać w wątpliwość¹⁴. Często spotykamy się ze sformułowaniami takimi jak charyzmatyczny polityk, charyzmatyczny artysta, a wreszcie też charyzmatyczny nauczyciel. Ten ostatni ma szansę stać się mistrzem najbliższym, najbardziej prywatnym – ponieważ spotkanym na drodze obowiązkowej edukacji¹⁵. W tym punkcie możemy odnieść się do powieści, aby sprawdzić jak funkcjonuje w tej roli główny bohater, który jest właśnie nauczycielem, uczącym języka ukraińskiego w miejscowej szkole. Wydawać by się mogło, że zajęcia z języka i literatury stanowią kluczowy element edukacji szkolnej, mającej bezpośredni wpływ na kształtowanie się postaw obywatelskich, świadomych, czy też nawet patriotycznych. Prowadzenie takiego przedmiotu pozwala dydaktykowi na dość aktywne uczestniczenie w tym ważnym procesie. Jednak relacja pomiędzy Paszą i jego uczniami przebiega zupełnie inaczej. Pasza nie posiada silnej osobowości, o jednoznacznych poglądach oraz wiedzy, której nie można byłoby zakwestionować. Pierwszym problemem jest już sam nauczany przez niego przedmiot – język ukraiński. Pasza używa go jako środka komunikacji wyłącznie na lekcjach, automatycznie przechodząc na język rosyjski na korytarzu, tudzież w rozmowach z innymi dorosłymi¹⁶. W ten sposób okazuje swoje własne stanowisko wobec statusu i praktyczności ukraińskiego, a tym samym sensowności nauczanego przez siebie przedmiotu. Pasza podważa własny autorytet nauczyciela – wpisując się zresztą w utarte podejście do języka ukraińskiego na tamtych terenach. Przez całą powieść *soundscape*¹⁷ Donbasu stanowią język rosyjski oraz *surżyk*¹⁸, sygnalizując problemy tożsamościowe wspólne dla tej przestrzeni i jej mieszkańców. Pasza sam wątpi w swoją umiejętność do odnajdywania się w roli nauczyciela, dostrzegając lekceważącą postawę dzieci i własny brak pomysłów, czy choćby woli do faktycznego „wychowywania” ich. Ponadto – co do zasady – Paszy nie interesują ani nowiny polityczne, ani informacje z frontu, który przebiega zaledwie kilka kilometrów od jego własnego domu¹⁹. Wojna stawia przed Paszą konieczność odnalezienia się w nowej sytuacji, lecz tak długo, jak jest to możliwe Pasza stara się trwać w komfortowej bańce niewiedzy i izolacji – twierdząc, że to-

14 Z. Bauman, *Socjologia*, Poznań 1996, s. 127.

15 Posługiwanie się kategorią mistrza w kontekście współczesnego nauczyciela zob. K. Olbrycht, *Współczesne pytania...*

16 С. Жадан, *Интернат*, Чернівці, 2017, s. 24.

17 E. Rybicka, *Геопоетика. Пространств і місця в сучасних теоріях і практиках літературних*, Kraków 2014, s. 249.

18 P. Pogożelski, *Barszcz ukraiński*, Gliwice 2014, s. 52.

19 Zob. С. Жадан, *Интернат...* s. 34–35.

cząca się wojna jego samego nie dotyczy. Ponadto nie uważa, że konflikt może być tematem na który warto byłoby rozmawiać z dziećmi (zdaje się nie zauważać, że rodziny wielu z jego podopiecznych wojna dotyka bezpośrednio)²⁰. Wynika to między innymi z jego braku przywiązania do kraju, którego flagę ma wydrukowaną w paszporcie i która powiewa nad szkołą w której uczy. Jak ognia Pasza stara się unikać sytuacji, w których jego zachowanie mogłoby zostać uznane za opowiedzenie się za, czy też utożsamianie z – którąś ze stron konfliktu. Bardzo długo nie stosuje nawet zaimków dzierzawczych „nasi – wasi”, przesądzających o przynależności pogładowej. Ciągły lęk i brak wiary we własną osobę sprawia, że Pasza wydaje się być postacią kompletnie pozbawioną charyzmy, a ponadto na opisane okoliczności negatywnie wpływa jego fizyczność oraz zachowanie. Cierpiący na niedowład palców w jednej ręce Pasza jest tak naprawdę inwalidą, niepozornym i trochę niezdarnym, który ze względu na swój stan zdrowia nawet nie bierze pod uwagę ewentualnego udziału w wojnie.

Natomiast siostrzeniec Paszy, Sasza – nastolatek w okresie buntu i kontestacji świata, pomimo własnej dużej niezależności, zaradności i cynicznej postawy, wyraża potrzebę posiadania autorytetu, charakterystyczną dla współczesnego człowieka – według słów Baumana – potrzebę charyzmatycznych gwarancji²¹. Możemy to zaobserwować na podstawie szacunku, którym Sasza darzy Ninę – dyrektorkę internatu. Autor przedstawia nam ją jako zupełne przeciwieństwo Paszy, chociażby w kategoriach pedagoga – wzorca. Jest to silna osobowość, posiadająca umiejętność mówienia do młodzieży o trudnych rzeczach w prosty i „nie patetyczny” sposób, co z zaskoczeniem i niespodziewaną dla siebie zazdrością konstatuje Pasza – uświadamiając sobie własne braki²². Jednak tym, co nadaje Ninie szczególnego wyrazu jest jednoznaczność jej poglądów propaństwowych i pozbawione wątpliwości wskazanie wroga i winowajcy w konflikcie zbrojnym. Podczas rozmowy toczącej się między Paszą i Walerą, wuefistą pozostałym podobnie jak dyrektorka przy uczniach w internacie, Nina ostro krytykuje postawę obu mężczyzn wtórujących sobie w przekonaniu, że wojna nie ich samych dotyczy. Kobieta rozprawia się również z tezą o jednakowości wszystkich łańdów społecznych – bazującą na idyllicznych i zafałszowanych przez czas wspomnieniach własnego dzieciństwa, w okresie istnienia Związku Radzieckiego. Zarzuca im wprost, że boją się nazywać rzeczy po imieniu, tak samo jak boją się o tym rozmawiać z dziećmi. Wymiana zdań między Niną i Paszą: „A kiedy strzelają do twojego siostrzeńca – wtedy też za nikim nie jesteś? Kiedy pociski uderzają w internat, w którym mieszka? To kogo wtedy dotyczy wojna?”²³, stawia bohatera w niekomfortowej sytuacji, która w końcu skłoni go, chociaż po dłuższym czasie wyparcia, do próby rewizji własnych poglądów. Warto przy tym zwrócić uwagę, że autor stara się pokazać, że dla Saszy atrakcyjne w modelu zachowania propono-

20 Ibidem, s. 159.

21 Z. Bauman, *Socjologia...*

22 С. Жадан, *Интернат.....*, s. 147–148 [tłumaczenie J. M.].

23 Ibidem, s. 159 [tłumaczenie J. M.].

wanego przez Ninę są nie tyle same propaństwowe poglądy, a nieugiętość postawy oraz umiejętność argumentowania swojego stanowiska.

Tożsamość

Różnice pomiędzy Paszą, a Niną jako jednostkami ludzkimi opisane w powyższym akapicie, mają związek z problemem charakterystycznym dla całego pokolenia dorosłych, którego dzieciństwo przypadło na końcówkę i upadek ZSRR, a w dorosłość wchodziło w realiach niestabilnych początków wolnej Ukrainy. Mamy tutaj do czynienia z postradziecką spóścizną, dotyczącą modelu osobowości. Biorąc pod uwagę innych bohaterów twórczości Żadana, jeszcze sprzed wojny na Donbasie, można powiedzieć że Pasza jest starszą – dorosłą – wersją tych samych nastolatków, którzy włączyli się bez specjalnego celu po Donbasie pociągami, nadużywając alkoholu, śpiąc na dworcach i nie radząc sobie z nową postradziecką rzeczywistością²⁴. Pokolenie Paszy, w przypadku tych bohaterów, zostaje ukazane jako borykające się między innymi z syndromem *homo sovieticus*²⁵ – czyli człowieka radzieckiego, charakteryzującego się na przykład ucieczką od odpowiedzialności, oportunizmem, brakiem zakorzenienia w kulturze i historii innej niż ogólnie radziecka, brakiem krytycznego myślenia i wreszcie tożsamości. W kontekście relacji uczeń – mistrz, posiadanie wykształconej tożsamości, rozumianej jako świadomość własnej spójności w czasie i przestrzeni²⁶, jest bardzo istotne ponieważ kształtowanie tożsamości ucznia jest jednym z elementów pobierania nauki od mistrza, który powinien, wedle Maxa Schelera, całym swoim jestestwem dawać przykład i inspirować. Jakkolwiek tożsamość *homo sovieticus* niewiele ma tutaj do zaoferowania²⁷.

Droga jako „spotkanie” – zmiana

Co jednak ciekawe, Pasza jako osoba która, mówiąc kategoriami socjologicznymi, przechodziła „etap socjalizacji” jeszcze za Związku Radzieckiego w wyniku silnych przeżyć związanych z bezpośrednim doświadczeniem wojny przechodzi tzw. „socjalizację wtórną”²⁸ między innymi pod wpływem takich „znaczących innych” jak Nina. W trakcie lektury książki widzimy jak Pasza powoli i z ogromnymi oporami zmienia się. Ze względu na specyficzną sytuację konfliktu zbrojnego, kiedy Pasza razem z siostrzeńcem znajdują się pośród innych uchodźców (składających się w głównej mierze z kobiet, dzieci i starców) czekających na dworcu na możliwość ucieczki z objętego działaniami wojennymi miasta, Pasza, jako młody mężczyzna, niespodziewanie dla siebie, okazuje się najlepszym kandydatem na

24 Por. S. Żadan, *Depeche Mode*, Wołowiec 2006; S. Żadan, *Anarchy in the UKR*, Wołowiec 2007.

25 Hasło „homo sovieticus” w *Encyklopedii PWN*, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/homo-sovieticus;3912513.html> [dostęp: 01.05.19]. Zob. M. Heller, *Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki*, Warszawa 1989; Zinowjew A., *Homo sovieticus*, Warszawa 1987.

26 A. Pukowska, *Tożsamość...*, s. 73.

27 M. Scheler, *Pisma z antropologii...*, s. 256.

28 Z. Bauman, *Socjologia...*, s. 54.

reprezentanta i głos grupy w negocjacjach z wojskowymi. Co więcej Pasza sam bierze na siebie ten obowiązek, przedstawiając się okupantom jako przedstawiciel obywateli i w ten sposób organizuje pożywienie i transport dla oczekujących „tymczasowo przesiedlonych osób”²⁹. Nie jest to oczywiście akt heroizmu, a raczej umiejętne i świadome wykorzystanie wiedzy o systemie oraz konformistycznych nawyków dostosowania się do sytuacji – nie sposób jednak nie zauważyć powoli zachodzących zmian. Widać je jeszcze lepiej, kiedy Pasza po raz pierwszy używa zaimka dzierżawczego „nasi” – wobec ukraińskiej strony.

Zaufanie

Rodzinna relacja między Paszą, a Saszą odgrywa zasadniczą rolę w powieści. Sasza jest synem siostry Paszy, która wychowując dziecko samotnie ostatecznie decyduje się na oddanie go do internatu. Chociaż Pasza jest osobą, która w rodzinie miała największe szanse na zastąpienie figury ojca, czytelnik odnosi wrażenie, że bohater uświadamia sobie ciężar obowiązku odpowiedzialności za młodego człowieka dopiero w drodze do i z internatu. W końcu to brak rozeznania w sytuacji i niechęć Paszy do podejmowania jakichkolwiek kroków, stały się przyczyną znalezienia się razem z siostrzeńcem w tylu niebezpiecznych i traumatycznych sytuacjach – na które nie naraziliby się, gdyby mężczyzna zdecydował się odebrać Saszę z internatu wcześniej. Troska o zdrowie „małego”, a także o ich relacje zdaje się pojawiać u Paszy dopiero w obliczu ciężkich przeżyć i prób, które razem przechodzą. Nocowanie na dworcu przepelnionym uchodźcami wojennymi, chowanie się przed wojskowymi po piwnicach, strach, głód i chłód – wydają się uświadamiać Paszy wagę relacji, skłaniać go do bycia odpowiedzialnym za Saszę. Jak sam zauważa odruchy te pojawiają się zbyt późno – dręczy go poczucie, że pewnych błędów nie da się już naprawić. Chociaż relacja wychowanek – opiekun jest, wedle słów Jerzego Bukowskiego, bardzo zbliżona do relacji mistrz – uczeń, badacz zwraca uwagę, że jednym z kluczowych czynników relacji uczeń – mistrz jest zaufanie³⁰. Pasza przez cały czas ma żal do siebie, że zawiódł zaufanie Saszy już na samym początku. Jako dorosły członek rodziny mógł sprzeciwić się decyzji siostry o oddaniu siostrzeńca do internatu, czego nie zrobił. Ponadto zdecydował się odebrać chłopca z internatu, dopiero pod presją własnego ojca. Dodajmy jeszcze w gwoli ścisłości, że brak sprecyzowanych poglądów i określonej tożsamości również nie budzi zaufania, a jedynie skłania Saszę do stawiania prowokacyjnych pytań i robienia sarkastycznych uwag i komentarzy.

Pytania hipotetyczne

Czy wspólnie odbyta droga, pełna niepewności, strachu i niebezpieczeństw zmieni Paszę na tyle, żeby mógł stać się autorytetem dla Saszy? Postacią, której nowa osobowość wywoła zachwyt, stając się wzorem do naśladowania, men-

29 С. Жадан, *Интернат...*, s. 201–203; 237–241.

30 J. Bukowski, *Zarys filozofii...*, s. 257–258.

torem? Czy Pasza pod wpływem dramatycznych przeżyć zrewiduje poglądy i ukonstytuuje swoją tożsamość, wyrывая się z postradzieckiego schematu? Czytelnik nigdy się tego nie dowie. Powodem jest sprytny zabieg zastosowany przez autora – związany z narracją. Przez niemal całą książkę narrator opowiada historię z perspektywy Paszy, mając dostęp jedynie do jego myśli i punktu widzenia, chociaż nie jest z nim tożsamy. W kluczowym dla książki momencie – kiedy bohater staje się świadkiem powolnej śmierci młodego ukraińskiego ochotnika, który umiera w przepełnionym szpitalu, położony z braku miejsca na złączonych stołach stołówek³¹, rodzaj narracji nagle zmienia się na pierwszoosobowy, ale czytelnik otrzymuje nową, zupełnie inną perspektywę. Do głosu dochodzi Sasza – odcinając nas tym samym od wiedzy o wszystkim, co zaszło w świadomości Paszy – po tym jesteśmy świadkami jednej zaledwie znaczącej wypowiedzi bohatera. Po wydostaniu się z okupowanego miasta Pasza ponownie spotyka zagranicznego dziennikarza z którym uprzednio miał okazję rozmawiać o konflikcie. Cudzoziemiec dziwi się zmianie w postawie bohatera i wypowiedzianych przez niego sądach, co ten kwituje zdaniem: „W szkole tak się mówi. Mówi się to co się myśli. W przeciwnym razie jaki byłby sens mówienia. No nie?³²”. Czytelnik może zauważyć w tym cytacie widoczny wpływ myśli Niny, co może – ale nie musi – być świadectwem zmiany w rozumieniu i postrzeganiu świata.

Punkt widzenia

Zmiana narracji pozwala nam zobaczyć sytuację oczami Saszy i przekonać się jak jej postrzeganie różni się od tego, które proponował narrator skupiający się na perspektywie Paszy. Punkt widzenia chłopca wydaje się być dużo bardziej dorosły, niż wynikałoby z jego sarkastycznych komentarzy i zachowań. Jest to oczywiście spojrzenie nastolatka, ale bardzo świadome i rzeczowe. Zaskakujące dla czytelnika okazują się opiekuńcze uczucia, którymi „młody” obdarza wujka – czuje się odpowiedzialny za starszego krewnego, postrzega go jako figurę, o którą tylko on – Sasza – może zadbać. Powodem jest nie tyle kalectwo fizyczne, ale kalectwo postawy życiowej. Co więcej, wbrew przypuszczeniom Paszy, chłopiec ufa mu: cały czas wierzył, że Pasza po niego przyjdzie – właśnie Pasza – nie kto inny. Czy w takim razie po wspólnych przeżyciach relacja Paszy i Saszy ma szansę zmienić się w relację uczeń – mistrz, zależność autorytetu? Można na to pytanie zaproponować kilka równoprawnych odpowiedzi pozostających w formie hipotezy. Pasza sprzed wydarzeń opisanych w książce jest zdecydowanie przykładem anty-mistrza, od którego można byłoby się uczyć chyba tylko na zasadzie negacji. Bliskość wojny, nowa odpowiedzialność i pęknięcie bańki, w której do tej pory funkcjonował może (ale nie musi!) spowodować ogromną zmianę w jego myśleniu i zachowaniu, jakkolwiek mając na uwadze świeżość tych zmian, więk-

31 С. Жадан, *Интернат...*, s. 309–325.

32 Ibidem, s. 331 [tłumaczenie J. M.].

sze szanse na stanie się mistrzem, a na pewno autorytetem dla Saszy miałyby Nina. Najbardziej prawdopodobny osobiście wydaje mi się jednak inny scenariusz. Jak zauważa Krzysztof Bukowski – najbardziej podobną do relacji mistrza i ucznia jest relacja przyjaźni, pojmowana jako chęć wzajemnego uczenia się od siebie, nauki patrzenia na świat oczami drugiej osoby, wzajemnego poszerzania horyzontów³³. Szansa na wzajemny wpływ i uczenie się od siebie jest obustronna. Jak podkreśla Max Scheler, każde pokolenie ma inny model relacji autorytetu i chociaż dziś mówi się o ich upadku, powinno się raczej zwracać uwagę na dostosowanie się do epoki i sytuacji³⁴. W kontekście przyjętego na początku założenia, o metaforze relacji pokoleń, stosunki Paszy i Saszy odzwierciedlają trudne wyzwanie rzucone ukraińskiemu społeczeństwu. Interpretując powieść *Żadana* w tym kluczu możemy założyć, że autor chce zachęcić rodzimych czytelników do refleksji. Pokolenia doświadczone takimi wydarzeniami historycznymi jak totalitarny ustrój ZSRR, czy agresja sąsiedniego państwa i wojna, jeśli chcą wspólnie budować przyszłość swojego państwa, powinny wzajemnie się od siebie uczyć, pokonując własne traumy i wady. Wzajemnie się słuchać. Ta droga pozwoli im na budowanie wspólnego społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swojej przeszłości i wynikających z niej ograniczeń, świadomego swojej terażniejszości i zadań które stawia przyszłość.

Bibliografia

- Bauman Z., *Socjologia*, Poznań 1996.
- Bukowski J., *Zarys filozofii spotkania*. Kraków 1987.
- Heller M., *Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki*. Warszawa 1989.
- Pogożelski P., *Barszcz ukraiński*, Gliwice 2014.
- Pukowska A., *Tożsamość – myślenie – język. Sprawozdanie i postulat interdyscyplinarności*, [w:] *Tożsamość w literaturze i sztuce czasów nowoczesnych i epoce postmodernizmu. Ujęcie transdyscyplinarne*, pod red. R. Solewskiego, (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Arte et Educatione VII, f. 124), Kraków 2012, str. 72–81.
- Rybicka E., *Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich*, Kraków 2014.
- Scheler M., *Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy*, Warszawa 1987.
- Szytko W., *Jezus Chrystus jako wychowawca i nauczyciel grona Dwunastu Apostołów*, [w:] *Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej. Autorytet mistrza*, pod red. A. S. Jasińskiego i W. J. Szytko (= Szkoła Seraficka, t. 2), Katowice Panewniki 2008, s. 127–143.
- Wiśniewska L., Mazur A., Mazan B., Ławski J., Saganiak M., Bobrowska B., Wiśniewska I., Rudkowska M., *Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń*, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. 3 (XLV) 2010, s. 114–137.
- Zinowjew A., *Homo sovieticus*, Warszawa 1987.
- Żadan S., *Anarchy in the UKR*, Wołowiec 2007.
- Żadan S., *Depeche Mode*, Wołowiec 2006.
- Жадан С., *Інтернат*, Чернівці, 2017.

33 J. Bukowski, *Zarys filozofii...*, s. 256–257.

34 M. Scheler, *Pisma z antropologii...* s. 356.

Źródła internetowe:

Narodziny społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Wywiad z Serhijem Żadanem, <https://amnesty.org.pl/narodziny-spolczenstwa-obywatelskiego-na-ukrainie-wywiad-z-serhijem-zadanem/>, [dostęp: 01.05.19].

Olbrycht K., *Współczesne pytania wokół relacji »mistrz – uczeń«*, <http://gazeta.us.edu.pl/node/194851>, [dostęp: 01.05.19]

Encyklopedia PWN, <https://encyklopedia.pwn.pl/>, [dostęp: 01.05.19].

Słownik języka polskiego PWN, <https://sjp.pwn.pl/>, [dostęp: 01.05.19].

Mateusz Mościszko

doktorant Wydziału Filologicznego UJ

DERRIDIAŃSKA DEKONSTRUKCJA JAKO APOGEUM TENDENCJI POSTSTRUKTURALISTYCZNYCH

Jacques Derrida – ojciec dekonstrukcji, będącej, jak to określił Ulrich Raulff, „sztuką analizy, krytykowaną często za ezoteryzm i irracjonalność”¹ – stwierdza, iż w swych działaniach mamy obowiązek czynienia rzeczy niemożliwych, bowiem, gdy zdarza się wyłącznie to, co możliwe, nic więcej nie może się już zdarzyć, a robienie tego, co można zrobić jest równoznaczne z nierobieniem niczego². Tym też zajmuje się dekonstrukcja, pewnego rodzaju wychodzeniem poza ograniczenia, wychodzeniem poza metafizykę.

Bogdan Banasiak w swym eseju dzieli dekonstrukcję na dwa aspekty, którymi są projekt filozoficzny i metoda czytania tekstów. Metoda ta zyskała wielką popularność w literaturoznawstwie jako sposób analizy, który przeniósł akcent z semantyki na syntaksę, uwalniając przez to różnorodność sensów i znaczeń, natomiast w teorii zwrócił uwagę między innymi na prawomocność interpretacji³. Proponowana przez J. Derridę interpretacja tekstów skierowana była w stronę ujawniania ukrytych presupozycji i ograniczeń, rządzących danym dziełem filozoficznym. Oprócz tego, dekonstrukcja posiada również aspekt gramatologiczny, będący projektem nauki o piśmie, a także filozoficzny, który ujawnił w zachodnim myśleniu tak zwaną metafizykę obecności⁴.

Z powyższym stwierdzeniem dotyczącym dekonstrukcji jako krytyki interpretacji zgadza się Anna Burzyńska, dodając, iż metoda ta poddaje krytyce przede wszystkim onto-hermeneutykę, czyli interpretację bazującą na założeniach metafizycznych⁵. Mi-

1 J. Derrida, *Nikt nie jest bez winy. Rozmowa z Jacquesem Derridą o filozofii w obliczu terroryzmu*, rozm. U. Raulff, tłum. B. Małczyński, [w:] *Czytanie Derridy*, red. B. Małczyński i R. Włodarczyk, Wrocław 2005, s. 89.

2 Ibidem, s. 90.

3 B. Banasiak, *Na tropach dekonstrukcji*, [w:] J. Derrida, *Pismo filozofii*, red. B. Banasiak, Kraków 1993, s. 10.

4 Ibidem, s. 11.

5 A. Burzyńska, *Dekonstrukcja i interpretacja*, Kraków 2001, s. 20.

chał Paweł Markowski uzupełnia to słusznym spostrzeżeniem, że dekonstrukcja zajmuje się „demystyfikacją” pewnego rodzaju racjonalności, będącej nieodłącznym elementem zachodniego myślenia⁶. Jak zauważa badaczka, metoda Derridy, mimo tego, że posiada jakieś związki z interpretacją, nie polega na ujawnianiu ukrytego w tekście sensu, ale też nie zajmuje się ukazaniem bezsensowności tych tekstów⁷. Jej zadaniem jest natomiast „podważanie autorytatywności teoretycznych schematów interpretacji i zachwianie apodyktyczności rozstrzygnięć dotyczących sensu”⁸.

Roland Barthes porównywał kiedyś język do „instytucjonalizacji subiektywności”⁹, J. Derrida poszedł zaś trochę dalej, mówiąc o „instytucjonalizacji indywidualności”, zaś samo pisanie to „powtarzanie niepowtarzalnego, konflikt konieczności i niemożliwości”¹⁰. Dla omawianego w niniejszej pracy filozofa pisać oznacza „umożliwić pojedyncze zdarzenie, wynaleźć coś całkiem nowego pod postacią aktywności pisarskiej, która nie opiera się wyłącznie na wiedzy teoretycznej, na sądach konstatających, poddać się poetycko-literackiej performatywności [...] Zawsze jest to ciekawsze od powtarzania”¹¹. Paweł Krzaczkowski, analizując dzieła J. Derridy, stwierdza, iż dla filozofa pismo związane jest z przemocą. Przemoc zachodniej metafizyki została zastąpiona przez przemoc pisma, które „już nie ma złudzeń, iż znak jest tylko śladem śladu, w żadnym zaś wypadku uobecnieniem sensu”¹².

Pismo jest również motywyem przewodnim w dziele J. Derridy *Farmakon*, w którym analizie i krytyce zostaje poddana platońska idea *farmakonu*. Słowo *farmakon* tłumaczone jest jako *lekarstwo*, ale też *trucizna*¹³, bowiem dla Platona pismo jest wyłącznie przejawem sztuczności¹⁴, przychodzi z zewnątrz, toteż jest zgubne¹⁵, zupełnie tak samo jak lekarstwo, które podane w większej dawce może stać się trucizną. Pismo, według greckiego filozofa, „nie tworzy wiedzy, lecz mniemanie, nie objawia prawdy, lecz pozór. *Farmakon* stwarza grę pozorów, dzięki której może podawać się za prawdę i tak dalej”¹⁶. Co więcej pismo jest „praktykowaniem podwojenia”¹⁷ (co związane jest, jak wiadomo, z koncepcją Platona o tym, iż rzeczywistość jest kopią idei, literatura i sztuka byłyby więc kopią tejże kopii), nie jest pamięcią (*mneme*), ale zaledwie pomnikiem (*hypomnemata*)¹⁸.

6 M. P. Markowski, *Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura*, Bydgoszcz 1997, s. 84.

7 A. Burzyńska, *Dekonstrukcja i interpretacja*, s. 18.

8 Ibidem, s. 18.

9 Zob. Ibidem, s. 40; R. Barthes, *Pisarze i piszący*, tłum. J. Lalewicz, [w:] Idem, *Mit i znak. Eseje*, red. J. Błoński, Warszawa 1970, s. 252.

10 A. Burzyńska, *Dekonstrukcja i interpretacja*, s. 40.

11 J. Derrida, *Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques'em Derridą rozmawia Derek Attridge*, rozm. D. Attridge, tłum. M. P. Markowski, „Literatura na świecie” 1998, nr 11–12, s. 202.

12 P. Krzaczkowski, *Przemoc jako aprioryczna forma filozofii*, [w:] *Czytanie Derridy*, s. 7.

13 J. Derrida, *Farmakon*, tłum. K. Matuszewski, [w:] Idem, *Pismo filozofii*, s. 45–46.

14 Ibidem, s. 48.

15 Ibidem, s. 54.

16 Ibidem, s. 53.

17 Ibidem, s. 60.

18 Ibidem, s. 57.

Jednakże, J. Derrida dowodzi, iż granica pomiędzy *mneme* a przeciwstawionej jej przez Platona *hypomnemata* jest ledwie zauważalna, zaś pamięć jest również powtórzeniem idei¹⁹, nie widzi różnicy między ideą (logos), a ciałem (pismo), dlatego jako *farmakon* podaje też logos, bowiem „*farmakon* jest zawarty w strukturze logosu. To zawieranie się *dominuje i decyduje*”²⁰. W ten sposób J. Derrida pokazał nieścisłości w myśleniu Platona, zrównując idealizowany przez niego logos ze zniechędzonym *farmakonem*. Jest to także przejaw dekonstrukcyjnej krytyki logocentryzmu i prawdy absolutnej.

Prawdzie J. Derrida poświęcił też pismo na temat filozofii Friedricha Nietzschego i jego pojmowania stylu. F. Nietzsche porównuje kobietę do prawdy, jednakże francuski myśliciel dodaje do tego własną teorię, stwierdzając, iż jeżeli „kobieta jest prawdą, to wie ona, że nie ma prawdy [...] Jest ona kobietą o tyle, o ile nie wierzy w prawdę, a zatem w to, czym sama jest, w to, czym, jak się sądzi, ona jest, czym więc ona nie jest”²¹. Z powyższego cytatu wynika, iż J. Derrida odrzuca prawdę absolutną, relatywizując rzeczywistość, bowiem za prawdę, jakby to absurdalnie nie zabrzmiało, uważa wiedzę o nieistnieniu teźże prawdy. Aczkolwiek sama kobieta nie interesuje się prawdą, to mężczyzna wierzy, iż jego stwierdzenie o prawdzie dotyczy kobiety, „mężczyzna wierzy w prawdę kobiety, w kobietę-prawdę”²². Kobieta związana jest również ze stylem²³. F. Nietzsche, według J. Derridy, widzi zagrożenie w feminizmie z tego względu, iż feministka próbuje upodobnić się do mężczyzny, do dogmatycznego filozofa, przez co oddala się od prawdy i traci styl²⁴. Zagrożenie znajduje się również w kastracji, kiedy to mężczyzna traci swe męskie atrybuty i staje się poniekąd kobietą²⁵, a kobieta wedle niemieckiego filozofa, kłamie, oszukuje, jest aktorką²⁶. F. Nietzsche przedstawia też pogląd, iż aktorami są przeważnie Żydzi, czyli mężczyźni poddani obrzezaniu, które może być metaforą kastracji, przez co stali się zniewieściami²⁷. Wygląda na to, iż niemiecki myśliciel boi się wszystkiego, co jest jakoby „pomiędzy”: feministki to przecież, według niego, zmaskulinizowane kobiety, a kastraci to sfeminizowani mężczyźni. Bardzo ciekawe jest również stwierdzenie o braniu na własność, kobieta się oddaje, a mężczyzna bierze ją na własność²⁸. Tę metaforę rozumiem jako relatywizację prawdy, obecną w myśli J. Derridy. Jeżeli kobieta reprezentuje prawdę, a mężczyzna jest jej interpretatorem, to można by rzec, iż tak jak mężczyzna bierze na własność kobietę, tak interpretator bierze na własność prawdę, która jest w jego posiadaniu, ale nie jest tożsama z prawdą innego interpretatora. Tak samo

19 Ibidem s. 62.

20 Ibidem, s. 69.

21 J. Derrida, *Ostrogi. Style Nietzschego*, tłum. B. Banasiak, Gdańsk 1997, s. 20.

22 Ibidem, s. 30.

23 Ibidem, s. 24.

24 Ibidem, s. 30.

25 Ibidem.

26 Ibidem, s. 33–34.

27 Ibidem, s. 34.

28 Ibidem, s. 64.

jest ze stylem, bowiem, „jeśli istnieje styl – Nietzsche o tym przypominał – to winien on być wieloraki”²⁹, należy też „mówić wieloma językami i tworzyć kilka tekstów naraz”³⁰.

Powyższe stwierdzenia są poniekąd powiązane z tak zwaną redukcją sensu, która według J. Derridy stanowi krytykę fenomenologii, bowiem sama fenomenologia redukowała wszystkie fenomeny jedynie do sensu. Redukcja sensu „dokonuje się przez swego rodzaju zerwanie z myśleniem o byciu”³¹. Francuski filozof zaczyna wyjaśniać bycie i jestestwo od założeń Edmunda Husserla i Martina Heideggera. Transcendentalna fenomenologia E. Husserla zajmuje się krytyką antropologiczną i „tak samo jak, zdaniem Husserla, można sobie wyobrazić świadomość bez duszy (*seelenloses*), tak samo – i *a fortiori* – można sobie wyobrazić świadomość bez człowieka”³². Natomiast Heideggerowskie *dasein* (jestestwo) nie jest człowiekiem, ale równocześnie nie jest też czymś innym niż człowiek, co więcej, jest ono „powtórzeniem istoty człowieka, powtórzeniem pozwalającym wyjść poza metafizyczne pojęcie *humanitas*”³³. Według M. Heideggera bycie czy też jestestwo jest czymś najbliższym względem człowieka, ale jednocześnie najdalszym, bowiem człowiek zawsze trzyma się bytu, nie zaś bycia³⁴, żeby z kolei zbliżyć się do jestestwa, człowiek musi „nauczyć się egzystować w tym, co bezimienne”³⁵. Jak stwierdza J. Derrida, „Heidegger całkowicie zdekonstruował władzę *tego, co obecne*, nad metafizyką, po to by nakłonić nas do przemyślenia obecności *tego, co obecne*”³⁶. To, co jest najbliższe, jest równocześnie własnością, toteż człowiek jest własnością bycia, a bycie własnością człowieka. Jednakże własność ta nie jest rozumiana na sposób metafizyczny, bowiem „to, co własne człowieka, nie jest tutaj jakimś istotowym atrybutem, predykatem pewnej substancji”³⁷. Własność jest dla J. Derridy tożsama z nierozłącznością³⁸. „Kres człowieka jest myśleniem bycia, człowiek jest kresem myślenia bycia. Człowiek zawsze jest własnym kresem, czyli kresem *tego, co jego własne*”³⁹.

Oprócz redukcji wszystkich fenomenów tylko do sensu francuski filozof zarzuca fenomenologii również ideę bytu jako formy, która jest równoznaczna z obecnością⁴⁰. Forma ogranicza byt, zaś sama fenomenologia doprowadziła wymóg tejże formalizacji wręcz do skrajności⁴¹. Redukcja sensu, pogląd na temat jestestwa i antyformalizm J. Derridy mogą być dowodem na jego sprzeciw wobec idei

29 J. Derrida, *Kres człowieka*, tłum. P. Pieniążek, [w:] Idem, *Pismo filozofii*, s. 186.

30 Ibidem.

31 Ibidem, s. 185.

32 Ibidem s. 161.

33 Ibidem, s. 174.

34 Ibidem, s. 180.

35 Ibidem, s. 177.

36 Ibidem, s. 181.

37 Ibidem, s. 183.

38 Ibidem.

39 Ibidem, s. 184.

40 J. Derrida, *Forma i znaczenie. Uwagi o fenomenologii języka*, tłum. B. Banasiak, [w:] Idem, *Pismo filozofii*, s. 128.

41 Ibidem, s. 149.

substancjalności. A. Burzyńska podkreśla, że J. Derrida nie odrzucał metafizyki, kwestionował tylko metafizykę obecności⁴², która od czasów Platona jest dualistyczna⁴³, jest „siedliskiem dogmatyzmu i fundamentalizmu”⁴⁴, jak również łączy się z logocentryzmem, w swoim centrum umieszczając rozum, któremu podporządkowany jest sens bytu⁴⁵. Filozof zaznacza, że tak naprawdę nic nie jest nigdy obecne, we wszystkim mieści się „inne”, natomiast „jeżeli ‘jest’, to tylko dlatego, że różni się od tego, czym ‘nie jest’. Lub inaczej: nie istnieje absolutna i niepodważalna ‘tożsamość’”⁴⁶. Ten szacunek dla „innego” przejawia się w dekonstrukcji jako imperatyw etyczny⁴⁷, etyka zaś jest bardzo ważnym elementem w myśli Derridańskiej.

Etyka stała się motywem przewodnim jednej z prac omawianego filozofa. W pracy tej, autor wychodzi od myśli Sorena Kierkegaarda i jego dzieła na temat ofiary Abrahama, a pisze o odpowiedzialności względem „Innego”. „Inny”, w tym przypadku Bóg, zachowuje swoją „inność” poprzez tajemniczość⁴⁸. Odpowiedzialność żąda wyjaśnienia, ale równocześnie zachowania tajemnicy, co jest ze sobą sprzeczne⁴⁹. Abraham zaś dochowuje tajemnicy, ale też odpowiada na pytanie syna, wprowadzając wymijająco, aczkolwiek nie kłamie⁵⁰. Jednakże poprzez brak szczerości względem rodziny, nasz bohater w pewien sposób łamie etykę⁵¹. Niemniej jednak, według J. Derridy jest to nieuniknione, bowiem wierność wobec innego wymaga „poświęcenia mu kogoś innego, innych innych”⁵². Jako przykład takiej wierności, filozof podaje pełnienie swojego obowiązku poprzez pracę i działalność społeczno-polityczną, przez co zaniedbuje inne obowiązki względem ludzi i zwierząt, głodnych, chorych czy też nie znających języka francuskiego. Innym przykładem jest fakt, że kiedy karmimy jednego kota, w tym czasie z głodu umiera wiele innych kotów, bowiem zawsze, kiedy wybierze się obowiązek względem jednej rzeczy, zaniedba się inną⁵³. Kolejną kwestią poruszoną w omawianej pracy jest sposób, w jaki odpowiada Abraham swemu synowi. Jest to odpowiedź bez odpowiedzi, niepokojąca, ponura, a zarazem komiczna i subtelna⁵⁴. J. Derrida łączy tę metodę odpowiadania z ironią, bo „mówić, by nie powiedzieć niczego lub coś innego niż się myśli, mówić w sposób intrygujący, niepokojący, pytający lub pozwolić przemówić czemuś innemu (prawu, prawnikowi) – znaczy właśnie mówić ironicznie”⁵⁵.

42 A. Burzyńska, *Dekonstrukcja i interpretacja*, s. 280.

43 Ibidem, s. 288.

44 Ibidem, s. 291.

45 Ibidem, s. 293.

46 Ibidem, s. 291.

47 Ibidem, s. 441–442.

48 J. Derrida, *Darować śmierć. Komu darować (Wiedzieć, by Nie Wiedzieć)*, tłum. K. Liszka i M. Pawlikowska, [w:] *Czytanie Derridy*, s. 73.

49 Ibidem, s. 76.

50 Ibidem, s. 74–75.

51 Ibidem, s. 75.

52 Ibidem, s. 81.

53 Ibidem, s. 81.

54 Ibidem, s. 84–85.

55 Ibidem, s. 85–86.

W jednej z wyżej omawianych prac J. Derrida przedstawia również dwie strategie dekonstrukcji. Jedną z nich jest „prowadzenie dekonstrukcji bez zmiany terenu”, czyli dekonstrukcja pewnej idei za pomocą znanych już metod filozoficznych i w obrębie tych metod. Strategii tej używał między innymi M. Heidegger⁵⁶. Drugą jest „decyzja o zmianie terenu”, która polega na tym, iż dekonstruujemy dany pogląd i „atakujemy” go z zewnątrz poprzez wtargnięcie, tak jak wygląda to w myśli Derridiańskiej⁵⁷. Jednakże strategie te, jak zauważa A. Burzyńska, nie są skierowane na jakiegokolwiek rozstrzygnięcia, są natomiast „tekstualnymi operacjami”, które coś raczej ukazują niż wyjaśniają⁵⁸. Dekonstrukcja, wedle jej twórcy, jest tak zwaną pragmatologią, czyli czymś pomiędzy pragmatyką i gramatologią⁵⁹. Teoria natomiast prowadzi do „sztucznego zamulania wyrw”, a ponadto jest skora do totalizacji, centralizacji, uniwersalizacji, dlatego J. Derrida jest jej przeciwny i postuluje skupić się przede wszystkim na praktyce czytania⁶⁰, zaś same „procedury dekonstrukcji przypominają raczej spektakl niż doktrynę”⁶¹. Literaturoznawczyni przywołuje słowa Richarda Rorty’ego i porównuje antyteoretyczność francuskiego filozofa do tak zwanej teorii ironicznej, która polega na „quasi-teoretyzowaniu” przy jednoczesnym poddaniu w wątpliwość teorii i wzięciu jej w „ironiczny nawias”⁶². Praktyki dekonstrukcyjne nie służą umieszczeniu w tekście czegoś nowego, a ich celem jest czytanie tekstów i ujawnianie ich ukrytych poziomów⁶³, filozofia zaś jest traktowana przez J. Derridę jako gatunek literacki⁶⁴, dlatego też jego metoda zdobyła tak wielką popularność wśród literaturoznawców. B. Banasiak dodaje, iż z powodu swej różnorodności metoda J. Derridy nie została nigdzie objaśniona, co więcej, sama się temu opiera, jak również podlega ciągłej ewolucji⁶⁵. Badacz konstatuje, iż M. Heidegger za pomocą swojej destrukcji wyszedł poza ontologię⁶⁶, aczkolwiek uważa on język za siedlisko bycia, podczas gdy J. Derrida przyjmuje go jako tego bycia skamielinę⁶⁷.

Odnosząc się do praktyki działań francuskiego myśliciela, B. Banasiak, zauważa, że odrzuca on tradycyjne odczytanie dzieł innych filozofów, a wszelkie nawiązania do tych dzieł wykorzystuje jako „pretekst dla realizacji dekonstrukcyjnej krytyki”⁶⁸. „Z jednej strony odsłania i wydobywa tkwiące w nich motywy lub wa-

56 Idem, *Kres człowieka*, s. 185–186.

57 Ibidem, s. 186.

58 A. Burzyńska, *Dekonstrukcja i interpretacja*, s. 53.

59 J. Derrida, *My chances / Mes chances. A rendez-vous with some Epicurean stereophonics*, [w:] *Taking chances: Derrida, psychoanalysis and literature*, ed. J. H. Smith and W. Kerrigan, Baltimore 1984, s. 27.

60 A. Burzyńska, *Dekonstrukcja i interpretacja*, op. cit., s. 65.

61 Ibidem, s. 56.

62 Ibidem, s. 53.

63 Ibidem, s. 397.

64 Ibidem, s. 408.

65 B. Banasiak, *Na tropach dekonstrukcji*, s. 13.

66 Ibidem, s. 20.

67 Ibidem, s. 26.

68 Ibidem, s. 39.

lory krytyczne, z drugiej zaś pokazuje ich metafizyczne ograniczenia i uwikłania, które pozbawiają daną doktrynę kształtu radykalnie antymetafizycznego i czynią z niej nieuchronnie potwierdzenie metafizyki obecności; te pierwsze wykorzystuje on do dekonstruowania tych drugich⁶⁹. To posługiwanie się dorobkiem filozoficznym jest zawsze negatywno-krytyczne, podlega dekonstrukcyjnemu przemyśleniu i ujawnia metafizyczny charakter całej zachodniej filozofii⁷⁰, z kolei przedstawiciele tego dziedzictwa pozostawili pewne ślady na myśli J. Derridy⁷¹. A. Burzyńska mówi o wpływach Friedricha Nietzschego, Zygmunta Freuda, Karola Marksa i Paula Ricoeura⁷². Niezaprzeczalnie widoczna jest też inspiracja M. Heideggerem. Doskonale było to widoczne w zawartych w niniejszej pracy krótkich omówieniach dzieł filozofa, w których nawiązywał czy to do filozofii F. Nietzschego, M. Heideggera, E. Husserla czy Platona, dekonstruował je i wykorzystywał do stworzenia własnych stwierdzeń. Badaczka zauważa również pewne pokrewieństwo między dekonstrukcją J. Derridy, a poglądami Rolanda Barthes'a, Michela Foucaulta, Julii Kristewej czy Philippe'a Sollersa⁷³. Porównuje działania poststrukturalistów do przełomu antypozytywistycznego. Przełom ten sprzeciwił się genetyzmowi (psychologizm, biografizm, historycyzm i tak dalej), zaś poststrukturalizm odrzucił wszystkie inne -izmy, przede wszystkim zaś fundamentalizm poznawczy⁷⁴. Co ciekawe, poststrukturalizm nie krytykuje na przykład logosu, *mimesis*, znaku, sensu czy podmiotu, ale logocentryzm, mimetologizm, komunikacjonizm, holizm, podmiotowizm, tradycyjną ideologię sensu⁷⁵, czyli ideologie umieszczające te koncepcje na pewnego rodzaju piedestale i w centrum zainteresowań filozofii zachodniej.

Idee myśli Derridiańskiej miały swój początek w tak zwanych czterech wielkich kryzysach (kryzys *mimesis*, podmiotu, znaku i hermeneutyki), które zainicjowały znaczący przełom w filozofii i powstanie poststrukturalizmu. J. Derrida z kolei doprowadził tę poststrukturalistyczną ideę do pewnego rodzaju apogeum, szczytu, a zarazem kresu, który stanowi początek. A. Burzyńska twierdzi, iż jednym z pierwszych, który zauważył kryzys w dziedzinie interpretacji we Francji na przełomie lat 50. i 60. XX wieku był Roland Barthes, porównując ten kryzys do przejścia ze średniowiecza do renesansu⁷⁶. Filozof zarzucał tradycyjnemu sposobowi interpretacji fundamentalizm, dualizm i nastawienie na „ostateczne wyjaśnienie sensu literatury”⁷⁷, aczkolwiek, jak zauważa badaczka, nie chodziło mu i jemu podobnym o zaprzestanie interpretacji literatury, ale, wręcz przeciwnie, o to „by trwało ono bez końca i nigdy nie sięgało dna”⁷⁸. R. Barthes sprzeciwił się próbom uchwycenia sen-

69 Ibidem.

70 Ibidem, s. 39–40.

71 Ibidem, s. 41.

72 A. Burzyńska, *Dekonstrukcja i interpretacja*, s. 27.

73 Ibidem, s. 26.

74 Ibidem, s. 28.

75 Ibidem, s. 27.

76 Ibidem, s. 78.

77 Ibidem, s. 81.

78 Ibidem, s. 83.

su literatury, jego rozszyfrowywaniu, a także chęci wychodzenia poza dane dzieło i ukazywania go jako zapis rzeczywistych faktów⁷⁹, zaczął również głosić tezy o „literaturze jako sztuce ‘z-wodzenia, od-bierania sensu’, pisał o ‘rozwieraniu się znaczonego’, przekonywał o ‘nieprzechodności’ literackiego języka i o ‘homeostatyczności’ systemu literatury, która ‘nie przekazuje żadnego obiektywnego *signifié*’⁸⁰.

W tym samym czasie, inny poststrukturalista, Michel Foucault, mówił o podobieństwie literatury do szaleństwa, „wyczerpaniu bezrozumnego Logosu”, wychwalał „milknącą nieobecność dzieła” i uważał, że język literacki mówi wyłącznie o samym sobie⁸¹. Natomiast w roku 1966 poststrukturalizm rozpoczął swoją drogę ku apogeum wraz z J. Derridą i prezentacją jego referatu *Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych* na konferencji w Baltimore, który zapoczątkował epokę dekonstrukcji⁸². W 1968 roku R. Barthes ostatecznie oświadczył, iż „interpretacja jest po prostu przypisywaniem ‘jednorodnego sensu grze sprzecznych pozorów’⁸³. Problem ten dogłębnie zbadał J. Derrida mówiąc o „uspójnieniu sprzeczności” jako o wyrazie „mocy pragnienia”⁸⁴.

M. Foucault destrukcji *mimesis* dopatruje się już w twórczości de Sade’a, a następnie w dziełach między innymi Gustave’a Flauberta, Arthura Rimbauda, Stéphane’a Mallarmégo, aż w końcu u surrealistów⁸⁵. Poprzez zerwanie z ideą *mimesis* literatura „przestała być mniej lub bardziej doskonałym zwierciadłem rzeczywistości, w zamian za to zaczęła ‘zjawiać się po prostu dla siebie samej’, stając się ‘czystym aktem pisarskim’, aktywnością ‘tajemniczo tautologiczną’ – a więc ‘pisanie’ [*écriture*], którego przedmiotu nie stanowi już nic więcej, jak tylko samo pisanie”⁸⁶. Z poglądem tym zgadzają się R. Barthes, P. Sollers i oczywiście J. Derrida⁸⁷.

Kolejnym kryzysem jest tak zwany „kres mitu nadzorcy”, czyli odrzucenie podmiotywizmu. M. Foucault wymieniał trzy różne podmioty: 1. podmiot jako podstawa aktów poznawczych (*cogito ergo sum* Kartezjusza), 2. podmiot twórczy, 3. autor⁸⁸. Według filozofa podmiot jest „przedstawicielem logosu”, „funkcjonaariuszem logocentryzmu”, zaś zakwestionowanie idei *mimesis* było równoznaczne z zakwestionowaniem jaźni, która reprezentuje przedstawienie⁸⁹. M. Foucault dokonał ciekawego porównania zdezintegrowanego „ja” u A. Rimbauda do „jąkającego się” „ja” Z. Freuda⁹⁰. J. Derrida z kolei wspominał o zachwianiu się autorytetu „ja”⁹¹, a wraz z R. Barthesem i M. Foucaultem twierdził, że gra języka może się

79 Ibidem, s. 84.

80 Ibidem, s. 90.

81 Ibidem, s. 90.

82 Ibidem, s. 91.

83 Ibidem, s. 94.

84 Ibidem.

85 Ibidem, s. 101.

86 Ibidem, s. 101–102.

87 Ibidem, s. 102.

88 Ibidem, s. 156.

89 Ibidem, s. 160.

90 Ibidem, s. 165.

91 Ibidem, s. 172.

odbyć bez obecności nadzorcy⁹², ale poszedł też o wiele dalej niż jego poststrukturalistyczni koledzy, bowiem zakwestionował sam humanizm i pojęcie nie tylko podmiotu, ale też człowieka⁹³.

Krytyka znaku była bardzo związana z krytyką strukturalizmu, który J. Derrida nazwał apogeum epoki logocentryzmu, a największym zarzutem w jego stronę był fakt, iż „pracowite i usłuszne *signifiant* usuwało się potulnie w cień po to, by odsłonić pewne swego, władcze *signifié*”. Natomiast R. Barthes, M. Foucault i J. Derrida, w odróżnieniu od strukturalistów, uznawali niestabilność i „kontekstualną płynność” znaczeń literatury⁹⁴.

Na temat kryzysu hermeneutyki i interpretacji M. Foucault mówił, że znak przestał odsyłać do swego desygnatu, a „interpretacja przestała być [...] optymistycznym zmierzaniem ku sensowi, prawdzie”⁹⁵. Z kolei P. Ricoeur stworzył ideę hermeneutyki podejrzeń, przeciwstawiając ją hermeneutyce zaufania⁹⁶.

Porównując powyższe poglądy ogółu poststrukturalistów do przedstawionej w pierwszej części niniejszej pracy myśli J. Derridy, bardzo łatwo zauważyć można fakt, że dekonstrukcja swoimi w pełni rewolucyjnymi ideami doprowadziła do apogeum pewnych tendencji poststrukturalistycznych. Pomimo tego, iż poststrukturalizm osiągnął swoje apogeum, osiągnął swój kres, to przekroczył go, przełamał, bo czytać i pisać należy nieustannie⁹⁷, „by czytanie i pisanie trwało bez końca, prowadząc jedynie do dalszego pisania i czytania”⁹⁸. Bowiem jak napisał francuski filozof w *Envois*: „dzień, w którym pojawiłoby się odczytanie kartki pocztowej z Oxfordu, jedyne i prawdziwe jej odczytanie, byłby końcem historii. Albo też nasza miłość przemieniłaby się w prozę”⁹⁹.

Bibliografia:

- Banasiak B., *Na tropach dekonstrukcji*, [w:] J. Derrida, *Pismo filozofii*, red. B. Banasiak, Kraków 1993, s. 9–42.
- Burzyńska A., *Dekonstrukcja i interpretacja*, Kraków 2001.
- Derrida J., *Darować śmierć. Komu darować (Wiedzieć, by Nie Wiedzieć)*, tłum. K. Liszka i M. Pawlikowska, [w:] *Czytanie Derridy*, red. B. Małczyński i R. Włodarczyk, Wrocław 2005, s. 71–88.
- Derrida J., *Farmakon*, tłum. K. Matuszewski, [w:] J. Derrida, *Pismo filozofii*, red. B. Banasiak, Kraków 1993, s. 43–70.
- Derrida J., *Forma i znaczenie. Uwagi o fenomenologii języka*, tłum. B. Banasiak, [w:] Idem, *Pismo filozofii*, red. B. Banasiak, Kraków 1993, s. 127–150.
- Derrida J., *Kres człowieka*, tłum. P. Pieniążek, [w:] Idem, *Pismo filozofii*, red. B. Banasiak, Kraków 1993, s. 151–188.

92 Ibidem, s. 174.

93 Zob. J. Derrida, *Kres człowieka*.

94 A. Burzyńska, *Dekonstrukcja i interpretacja*, s. 200.

95 Ibidem, s. 236.

96 Ibidem, s. 239.

97 Ibidem, s. 486.

98 Ibidem, s. 500.

99 Cyt. za: Ibidem, s. 500.

Derrida J., *Nikt nie jest bez winy. Rozmowa z Jacquesem Derridą o filozofii w obliczu terroryzmu*, rozm. U. Raulff, tłum. B. Małczyński [w:] *Czytanie Derridy*, red. B. Małczyński i R. Włodarczyk, Wrocław 2005, s. 89–91.

Derrida J., *Ostrogi. Style Nietzschego*, tłum. B. Banasiak, Gdańsk 1997.

Derrida J., *Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques'em Derridą rozmawia Derek Attridge*, rozm. D. Attridge, tłum. M. P. Markowski, „Literatura na świecie” 1998, nr 11–12, s. 176–225.

Krzaczkowski P., *Przemoc jako aprioryczna forma filozofii*, [w:] *Czytanie Derridy*, red. B. Małczyński i R. Włodarczyk, Wrocław 2005, s. 7–10.

Markowski M. P., *Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura*, Bydgoszcz 1997.

